
ЖЕНА
ПО ВЫБОРУ
ДЛЯ
АЛЬФЫ
БЕЗ КЛЕТКИ

Ксения Соболева

Жена по выбору для Альфы из клетки

«Литнет»

2026

Соболева К.

Жена по выбору для Альфы из клетки / К. Соболева — «Литнет», 2026

ПЕРВАЯ КНИГА: Я больше не невеста по ошибке.Семь дней закончились, клетка разрушена, архив мёртв, а Роман Громов больше не опасный объект из специзолятора, а альфа новой стаи. Теперь я рядом с ним не по крови, не по протоколу и не по чужому приказу. По собственному выбору.Но свобода, как оказалось, тоже может стать оружием.В городе появляется Белый круг — движение, которое обещает оборотням, ложным парам и детям тихих семей избавление от боли, зверя, памяти и любых связей. Больше никаких клеток. Больше никаких истинных пар. Больше никаких стай.Звучит красиво.Только после их «освобождения» люди перестают узнавать тех, кого любили.И теперь кто-то хочет доказать: если я действительно свободна, то должна отказаться даже от Громова.А я всё ещё не люблю, когда за меня решают.❤# властный альфа без клетки ❤# жена по выбору, а не по приказу ❤# добровольная стая ❤# опасная свобода вместо опасной клетки ❤# истинная связь без принуждения ❤# любовь, юмор, страсть и ХЭ

© Соболева К., 2026
© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1. Жена не по протоколу 5
Глава 2. Альфа, который спрашивает 15
Глава 3. Первый исчезнувший след 23
Глава 4. Белый круг 33
Глава 5. Человек без запаха 42
Глава 6. Свобода без сердца 55
Глава 7. Добровольное обнуление 62
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Глава 1. Жена не по протоколу

Женой альфы меня впервые официально назвали в очереди за хлебом.

Не в Бюро, не в доме стаи, не на каком-нибудь древнем круге под луной, где старшие оборотни с серьёзными лицами решают, кто кому принадлежит по крови, зверю, запаху и ещё бог знает чему. Нет. Это случилось в самой обычной булочной рядом с моей квартирой, где продавщица тётя Нина, женщина с лицом человека, пережившего три ремонта, две смены поставщиков муки и бесконечное количество покупателей, которые не знают, чего хотят, вдруг посмотрела на меня поверх витрины с рогаликами и сказала:

— Вам, наверное, побольше надо. У вас теперь муж крупный.

Я замерла с пакетом молока в руке.

— У меня теперь кто?

— Муж, — спокойно сказала тётя Нина и, не дожидаясь моего согласия, положила в пакет ещё одну булочку с маком. — Тот высокий. Чёрный. С бородой. Глаза такие, что я бы ему несвежий батон не продала даже под страхом налоговой. Он вчера заходил. Спросил, какой хлеб вы берёте. Вежливый. Но страшный.

Я закрыла глаза.

— Он не муж.

— А кто?

Вот это был прекрасный вопрос для восьми утра, очереди из трёх пенсионерок и одного мужчины в спортивной куртке, который до этого очень сосредоточенно выбирал слойку, а теперь перестал дышать, чтобы не пропустить объяснение. Формулировок было много. Добровольный союз. Закреплённая парная связь. Неархивируемый живой контур. Альфа новой стаи. Женщина, которая сама сказала «да», но всё ещё ненавидит, когда за неё расставляют таблички. Роман Громов, бывший незаконно изолированный объект специзолятора, теперь глава добровольной стаи, мой опасный, упрямый, слишком молчаливый мужчина, который научился стучать в закрытые двери. Но всё это было слишком длинно для булочной.

— Сложно, — сказала я.

Тётя Нина понимающе кивнула так, будто за годы торговли хлебом слышала и не такое.

— Значит, почти муж.

— Нет.

— Но хлеб ему ваш нужен.

— Хлеб ему нужен потому, что Марта вчера сказала, что если он ещё раз купит этот кирпич из супермаркета, она выгонит его из собственного дома.

— Марта правильно сказала, — одобрила тётя Нина. — Мужиков надо кормить нормально, особенно если страшные.

— Он не…

Я поняла, что проигрываю булочной, тёте Нине, хлебу и общественному мнению одновременно, и молча заплатила. В пакет мне всё-таки положили лишнюю булочку с маком. «Для крупного», как выразилась тётя Нина. Я вышла на улицу, вдохнула холодный утренний воздух и посмотрела на своё запястье. Тонкий светлый след закреплённой связи был почти незаметен под рукавом. Он не жёг, не требовал, не тянул меня обратно в дом стаи, не указывал, где сейчас Роман, хотя если прислушаться, можно было почувствовать его присутствие где-то на краю внутреннего слуха: тяжёлое, спокойное, живое. Не цепь. Не поводок. Не протокол. Просто открытая дверь, которую мы оба согласились не захлопывать.

Я больше не была невестой по ошибке.

Формально, если верить Павлу Игоревичу, слово «невеста» вообще не соответствовало текущему статусу, потому что добровольное закрепление парной связи не равнозначно граж-

данскому браку, стайному брачному договору, родовому союзу или любому иному виду имущественно-семейной регистрации, и вообще «Лиза, прошу тебя, не называй это так при комиссии, у них и без того нервная система подорвана». Но читатели городских сплетен, тётя Нина из булочной, старшие оборотни и, как выяснилось, часть новых жильцов дома стаи не разделяли тонкости Павловой правовой мысли. Для них всё было проще: альфа выбрал женщину, женщина осталась рядом, связь закреплена, дом принял, значит — жена альфы.

А вот с этим у меня начинались проблемы.

Моя жизнь после падения Мертина стала странно разделённой, как будто я одновременно жила в трёх местах и ни одно не хотела отдавать полностью. В квартире оставались мои книги, кружки, старый диван, окно на двор, фотографии отца, мамина близость через два квартала и Барсик, который по-прежнему считал, что все великие исторические потрясения нужны только для того, чтобы люди наконец поняли: миска должна наполняться вовремя. В новой группе по свидетельским процедурам меня ждали дела, от которых иногда хотелось уехать в лес и разговаривать только с мхом, но я всё равно приходила, потому что там, где раньше живых людей превращали в материалы, теперь требовались очень вредные люди с памятью о том, как это начинается. А дом стаи… дом стаи больше не был местом, куда меня притащили обстоятельства, кровь, ошибка в протоколе и опасный альфа из клетки. Он стал шумным, непредсказуемым, тёплым, местами невыносимым домом, где каждый второй человек что-то лечил, вспоминал, чинил, спорил, выбирал или пытался не выбирать слишком громко.

Поэтому утро началось в моей квартире, продолжилось в булочной, потом перетекло в Бюро, которое теперь называло себя обновлённой службой переходного надзора, хотя все нормальные люди всё равно говорили «Бюро» и смотрели на вывеску с выражением лёгкого недоверия. На входе больше не стояли прежние охранники с лицами металлических шкафов. Часть сотрудников уволили, часть отстранили, часть сами ушли, не выдержав того, что старые кабинеты теперь приходилось открывать для пострадавших, а не только для внутренних проверок. В холле всё ещё пахло бумагой, кофе и страхом перед начальством, но к этому запаху добавилось новое — нервная надежда. Плохая, ломкая, временами слишком громкая, но надежда.

Мой кабинет был маленький, временный и по документам вообще числился комнатой предварительных консультаций. На двери висела табличка: «Светлова Е.А. Специалист по живому согласию и свидетельским процедурам». Дина, увидев эту табличку, сказала, что звучит так, будто я официально разрешаю людям быть живыми, если они заранее записались. Павел хотел объяснить, что формулировка прошла три согласования, потом посмотрел на моё лицо и решил промолчать. Я табличку не сняла. Во-первых, потому что Павел действительно старался. Во-вторых, потому что после Мертина даже корявое словосочетание «живое согласие» казалось маленькой победой над всеми «объектами», «носителями» и «опасными формами».

Первым посетителем в тот день был мужчина лет тридцати пяти, бывший участник ложной пары. Он пришёл не жаловаться и не требовать немедленного разрыва. Он хотел понять, имеет ли право оставить часть связи, если она началась неправильно, но за годы в ней выросло что-то настоящее. Сидел напротив меня, сжимал в руках папку и всё время повторял:

— Я понимаю, что это было насилие. Но если я скажу, что всё было ложью, я предам десять лет жизни. А если скажу, что не ложь, будто оправдаю тех, кто нас связал.

Раньше Бюро обожало такие случаи, потому что в них легко было спрятать человека за категорией. Ложная пара — разорвать. Истинная — закрепить. Опасная — наблюдать. Нестабильная — ограничить. Сейчас мы учились говорить иначе, и это было мучительно медленно.

— Вы не обязаны называть всю жизнь одним словом, — сказала я. — Связь могла начаться насилием, а внутри неё могли появиться ваши собственные решения. Одно не отменяет другое. Главное, чтобы теперь вы оба имели право пересмотреть, подтвердить или отпустить — без давления, без долга, без страха, что кто-то придёт и скажет, как правильно.

Мужчина долго молчал. Потом кивнул, будто ему не дали ответа, но вернули право задать вопрос самому себе. Иногда это было больше, чем ответ.

После него была девушка, которой вернули часть звериного следа. Она боялась спать, потому что во сне слышала волчий вой и просыпалась с ощущением, что внутри неё живёт чужое животное. Я не была врачом, не была контурным специалистом и уж точно не была экспертом по подростковым оборотням, которые выросли в человеческих семьях и теперь обнаружили в себе клыки не только как метафору. Но я знала, каково это — однажды узнать, что часть тебя всё время лежала за закрытой дверью, а взрослые называли это защитой. Поэтому мы не говорили о звере как об угрозе. Говорили о праве знакомиться постепенно. О том, что страх не доказывает чужеродность. О том, что не всякое внутреннее рычание требует немедленно запереть его обратно.

К обеду у меня болела голова, в телефоне было четыре сообщения от Павла, два от Дины, одно от мамы и одно от Романа.

Мама прислала фотографию отца, где он стоял на кухне в старой квартире, держал в руках сломанный чайник и выглядел так, будто только что победил сложную технику силой харизмы. Подпись была короткая: «Нашла вчера. Кажется, он был очень горд». Я улыбнулась. Боль больше не исчезала, но стала другой: не чёрным провалом, а живой линией, по которой иногда можно было пройти, не падая. Я ответила: «Он выглядит как человек, который собирается сказать, что всё починил, хотя стало хуже». Мама почти сразу прислала: «Так и было». И смайлик. Маленький, осторожный. Мы всё ещё учились говорить о нём без того, чтобы прошлое разрывало нам горло. Но теперь говорили.

Дина написала: «Если Павел снова скажет "в рамках допустимого", я совершу недопустимое». Через минуту: «Не отвечай, это не просьба о помощи, это просто крик души». Ещё через минуту: «Но если у тебя есть булочка, приезжай быстрее». Я посмотрела на пакет из булочной и подумала, что тётя Нина, сама того не зная, работает на стабилизацию реформы Бюро.

Павел прислал проект новых правил по добровольному пересмотру связей, три пометки «посмотри, пожалуйста, человеческим взглядом» и одно отчаянное: «Дина угрожает переименовать весь раздел». Я ответила: «Если раздел называется "Порядок подтверждения субъективно переживаемой добровольности", я на её стороне». Павел ничего не ответил. Возможно, переживал.

Роман написал только: «Вечером круг старших. Будут говорить о тебе. Приехать лучше до семи, если хочешь присутствовать. Если не хочешь — я сам».

Я смотрела на сообщение дольше, чем требовалось.

Вот это «если хочешь» всё ещё было для нас новым. Не вежливым украшением фразы, не способом сделать вид, что выбор есть. Настоящим. Он мог сам. Без меня. Мог прийти на круг старших и сказать им своим тихим, тяжёлым голосом, что Лиза Светлова не является приложением к его статусу и не будет выполнять стайные обязанности по списку. Роман вообще многое мог сказать так, что у людей отпадало желание спорить до следующей весны. Но он спрашивал, хочу ли я присутствовать, потому что речь шла обо мне. И потому что мы договорились: никакие решения обо мне без меня, даже если эти решения хорошие, правильные и защищающие.

Я написала: «Приеду».

Через несколько секунд пришло: «Встречу у ворот».

Я улыбнулась и набрала: «Не надо. Я умею входить в дом».

Пауза была чуть длиннее.

Потом: «Знаю. Всё равно буду во дворе».

Вот это был весь Громов. Уже не держит, но всё равно стоит там, где может увидеть, как я вхожу. Иногда прогресс у опасного альфы выглядит не как полная смена характера, а как то, что он перестаёт называть свою тревогу приказом.

В дом стаи я приехала ближе к вечеру, с булочками, папкой документов, усталой головой и внутренним ощущением, что сейчас меня будут аккуратно превращать в должность. Громов действительно стоял во дворе. Не у ворот, как обещал, а чуть дальше, у старой дорожки к саду, чтобы формально не встречать меня на входе и не нарушать мою гордую самостоятельность. Он был в чёрной рубашке с закатанными рукавами, на предплечье виднелись татуировки, волосы ещё влажные после душа или дождя, взгляд тяжёлый, но когда он увидел меня, связь между нами отозвалась теплом. Не вспышкой. Не болезненным рывком. Спокойным узнаванием.

— Выглядите так, будто Бюро снова пыталось объяснить живым людям, как им жить, — сказал он.

— Почти. Сегодня мы называли это консультациями.

Он взял у меня пакет с булочками, но папку я не отдала. Он заметил и не стал предлагать второй раз.

— Тебя ждут.

— Старшие?

— Да.

— Уже решили, что я опоздала как жена альфы?

— Ещё нет. Но у Аглаи Матвеевны лицо человека, который готов.

Я вздохнула.

— Прекрасно. Я обожаю входить в комнату, где меня уже назначили.

Он посмотрел на меня внимательно.

— Хочешь, я начну?

— Нет.

— Хорошо.

— Вы слишком быстро согласились. Подозрительно.

— Учусь.

— У кого?

— У женщины, которая однажды сказала мне, что дверь закрыта не для красоты.

Я почувствовала, как внутри что-то мягко дрогнуло. Не связь. Или не только связь. Память о той первой комнате, где я требовала правила, о двери, в которую он теперь стучал, о том, как далеко мы ушли от «будешь семь дней» до «хочешь, я начну?».

— Тогда пойдёмте, — сказала я. — Пока Аглая Матвеевна не составила для меня должностную инструкцию.

Дом встретил меня шумом.

В гостиной кто-то спорил о дежурствах, на лестнице сидела девочка с книгой и делала вид, что читает, хотя явно слушала взрослых, Лука из подвала кричал, что если кто-то ещё раз назовёт южный ход «тайным лазом», он устроит всем экскурсию с обязательным экзаменом, Марта на кухне командовала тремя людьми сразу, а Барсик сидел на перилах, как тёмно-серый герб независимой кошачьей державы. Увидев меня, он сошёл вниз медленно, торжественно и остановился перед Громовым. Громов посмотрел на пакет с булочками, на кота, потом на меня.

— Он знает.

— Он всегда знает.

— Булочки с маком?

— Для крупного, — сказала я.

Громов приподнял бровь.

— Для кого?

— Неважно.

Барсик мяукнул так, что я предпочла отдать ему моральную победу и пройти в гостиную.

Круг старших собрался не в старом зале, где раньше стены давили родовыми знаками, а в большой гостиной, которую за последние месяцы окончательно испортили жизнью. На

одном кресле лежал плед Дины, на подоконнике — чашка Луки с засохшим чаем, у камина стояла корзина с детскими игрушками, на столе лежали документы Павла, хотя самого Павла не было: он сегодня застрял в Бюро и обещал подключиться по связи, если кто-нибудь попытается «оформить Лизу в собственность стаи». Дина это сообщение зачитала вслух и добавила: «Я бы приехала ради такого зрелища, но Павел говорит, что нельзя бросать слушание. Передайте старшим моё презрение заранее». Я решила, что Дину лучше цитировать выборочно.

Старшие сидели по правую сторону от камина. Аглая Матвеевна, сухая, прямая, с тростью у колена; седой мужчина по имени Ратмир, представлявший боковую линию; широкоплечая оборотница Илона, чьё лицо всегда выражало сомнение в умственных способностях современности; ещё двое, которых я знала меньше, но уже научилась распознавать по взглядам: они относились ко мне с уважением, осторожностью и лёгким ужасом, как к человеку, который может в любой момент сказать что-то юридически неудобное. Молодые держались ближе к дверям, хотя формально их никто не приглашал. Марта сидела у стены с таким видом, будто круг старших находится у неё на кухне и потому обязан вести себя прилично. Громов встал не во главе стола, а сбоку, оставив центр пустым.

Я оценила.

Старый порядок очень любил центры. Кто в центре, тот и главный, кто главный, тот решает. Новая стая всё ещё училась тому, что иногда центр нужен не человеку, а вопросу.

— Елизавета Андреевна, — начала Аглая Матвеевна.

Когда старшие оборотни называли меня полным именем-отчеством, я всегда внутренне проверяла, не нарушила ли я древний договор, не оскорбила ли луну и не села ли случайно на чей-нибудь родовой символ. Впрочем, чаще всего я просто существовала неправильно.

— Мы рады, что вы пришли.

— Я тоже решила послушать, как моя жизнь выглядит в третьем лице.

Кто-то из молодых у двери тихо кашлянул, скрывая смешок. Аглая Матвеевна не улыбнулась, но в её глазах мелькнуло что-то почти живое.

— Никто не собирается решать вашу жизнь без вас.

— Отличное начало.

— Но после закрепления связи с Романом Владимировичем ваш статус в доме изменился.

— Мой статус в доме изменился в тот момент, когда дом научился спрашивать, хочу ли я войти.

— Это красивая фраза, — сухо сказал Ратмир. — Но стая не может жить одними красивыми фразами.

— Согласна. Поэтому я принесла булочки.

Теперь уже усмехнулся даже кто-то из старших. Громов стоял неподвижно, но связь между нами тихо потеплела. Ему было смешно. Снаружи почти незаметно, но я уже знала.

Аглая Матвеевна постучала пальцами по трости.

— Речь не о шутках. Речь о порядке. У альфы новой стаи появилась закреплённая пара. Для молодых, для спасённых, для старых линий это знак. Хотим мы или нет, вас будут воспринимать как жену альфы.

— Уже воспринимают. Даже в булочной.

Илона нахмурилась.

— Тогда вы должны понимать, что у такого положения есть обязанности.

Вот оно.

Слово «должны» вошло в комнату тихо, но дом услышал. Я почувствовала, как где-то в стенах прошёл едва заметный гул. Не угроза. Предупреждение. Дом не любил это слово, когда его произносили слишком уверенно.

Громов чуть сдвинулся.

Я подняла руку, останавливая его.

— Перечислите, пожалуйста.

Илона, кажется, ждала сопротивления, а не вежливой просьбы. Но список у неё был готов. Конечно, был. Старые структуры вообще выживают благодаря спискам, которые кто-то когда-то составил и больше не пересматривал, потому что «так принято».

— Жена альфы присутствует на внутренних кругах, когда обсуждаются семейные и парные дела. Она принимает женщин и детей, пришедших под защиту дома. Она помогает Марте распределять бытовые обязанности. Она не вмешивается в решения боевого круга, но поддерживает авторитет альфы перед стаей. Она не покидает дом без уведомления во время угрозы. Она…

— Подождите, — сказала я.

Илона замолчала.

Я посмотрела на Громова. Он смотрел не на неё — на меня. Тёмно, внимательно. Не спасая. Не перебивая. Рядом.

— Давайте разделим, — сказала я. — Присутствовать на кругах я могу, если тема касается меня, свидетельских процедур или людей, которым нужна моя помощь. Принимать женщин и детей могу, если они сами хотят говорить со мной, а не потому, что я теперь женская половина альфьего кабинета. Помогать Марте могу, если Марта попросит, но я очень сомневаюсь, что Марта мечтает получить меня в подчинённые.

— Не мечтаю, — сказала Марта с места. — Она картошку чистит медленно и спорит с ножом.

— Вот видите. Бытовые обязанности дома распределяются не по моему браслету, а по тому, кто что умеет и кто сегодня не успел спрятаться от Марты.

Марта одобрительно хмыкнула.

— Поддерживать авторитет Романа перед стаей я не обязана, — продолжила я, и вот тут в комнате стало тише. — Если его авторитет держится на том, что я киваю рядом, значит, у нас проблема не с женой альфы, а с альфой. Я могу поддерживать его как человека, которого выбрала. Могу спорить с ним при всех, если считаю, что он ошибается. Могу не соглашаться. И если новая стая этого не выдержит, значит, она не новая.

Громов опустил голову на секунду. Не от стыда. Скорее, чтобы скрыть выражение лица. Но связь выдала: ему было не просто приятно. Ему было важно.

Ратмир нахмурился.

— Вы понимаете, что публичное несогласие пары альфы может расколоть стаю?

— Публичная ложь пары альфы расколет её быстрее. Просто не сразу.

У двери кто-то из молодых тихо сказал:

— Хорошо сказала.

Илона резко повернулась, но виновника не нашла. В доме с большим количеством молодых оборотней анонимность держалась плохо, но иногда всё-таки держалась.

Аглая Матвеевна смотрела на меня долго. В ней было меньше раздражения, чем я ожидала. Больше усталого внимания.

— А дом во время угрозы? — спросила она. — Вы оставляете за собой право уйти, даже если ваше отсутствие ослабит Романа?

Больное место. Не только моё. Громова тоже. Связь между нами стала тише, будто ждала, как мы произнесём это вслух.

— Да, — сказала я.

Громов не двинулся.

— И оставляю за ним право не делать моё присутствие условием своей устойчивости. Мы уже проходили историю, где один человек становился единственной стеной для всех. Плохо закончилось.

Аглая Матвеевна перевела взгляд на Громова.

— Роман Владимирович?

Он наконец заговорил.

— Лиза не должность при стае.

Ни громко. Ни красиво. Просто.

В комнате стало ещё тише.

— Она моя жена, — сказал он, и у меня всё равно дрогнуло что-то внутри от этого слова, потому что теперь оно было не ловушкой, а выбором. — Потому что сама сказала да. Не потому что дом назначил, не потому что связь требует, не потому что старые правила нашли пустое место в списке. Если она захочет принимать людей — будет. Если захочет спорить со мной — будет. Если захочет уйти в свою квартиру — уйдёт. Если во время угрозы она решит, что нужна здесь, останется. Если решит иначе, я буду ненавидеть это и всё равно не сделаю из неё заложницу моей силы.

Вот тут старшие замолчали уже по-настоящему.

Наверное, им было трудно. Не потому что они злые, а потому что их учили иначе. Альфа держит. Пара альфы укрепляет. Дом выстраивается вокруг центра. Угроза требует плотности. Свобода хороша после победы, но не во время опасности. Они прожили так долгие годы. Кто-то выжил именно поэтому. И теперь мы с Громовым стояли перед ними и говорили: старый способ выживания слишком легко становится клеткой, а новая стая должна рискнуть другим порядком.

— Вы разрушаете форму, — сказала Илона.

— Нет, — ответил Громов. — Мы меняем основание.

— Красиво звучит, — сухо заметил Ратмир.

— Тяжело делается, — сказал он. — Красоты мало.

Марта вдруг встала.

Все посмотрели на неё.

— Я всю жизнь видела жён альф, старших женщин, младших женщин, родовых женщин, полезных женщин, опасных женщин, слишком громких женщин и слишком тихих женщин, — сказала она. — И знаете, что я поняла? Как только женщину называют по функции, от неё сразу хотят, чтобы она меньше мешала. Лиза мешает хорошо. Пусть мешает.

Я не знала, благодарить за это или возмутиться.

— Марта…

— Молчи, я тебя хвалю.

— Странно.

— Как умею.

Аглая Матвеевна неожиданно улыбнулась краем губ. Едва заметно. Если бы я не смотрела прямо, пропустила бы.

— Марта всегда умела выразить суть без лишней дипломатии.

— Дипломатия портит суп, — ответила Марта.

Ратмир, кажется, хотел вернуть разговор к серьёзности, но в этот момент на столе ожил планшет Павла. Видимо, он всё-таки подключился. На экране появилось его измученное лицо, за плечом мелькнула Дина с булочкой.

— Прошу прощения, — сказал Павел. — Я услышал последние три минуты и считаю необходимым официально поддержать позицию Светловой Е.А.

— Павел Игоревич, — сказала я, — вы подслушивали?

— Я был подключён в режиме ожидания на случай правовой угрозы.

Дина высунулась в кадр.

— Он подслушивал.

— Дина!

— Что? Живое согласие требует правды.

Павел глубоко вдохнул.

— В любом случае. С точки зрения нового положения о добровольных связях и статусах внутри стаи, закреплённая парная связь не создаёт служебной роли без отдельного согласия лица. Если Елизавета Андреевна захочет принять какие-либо функции в доме, они должны быть предложены, обсуждены и приняты отдельно. Использование выражения «обязанности жены альфы» без добровольного подтверждения может быть признано пережитком старого порядка и потенциальным источником давления.

Дина кивнула в кадре.

— Перевожу: отстаньте от Лизы.

— Это не перевод, это упрощение.

— Зато всем понятно.

Аглая Матвеевна вздохнула. Но я видела: она не злилась. Или злилась не только.

— Мир стал очень сложным, — сказала она.

— Он всегда был сложным, — ответила я. — Просто раньше часть сложности запирали в подвалах, браслетах и женских обязанностях.

Старуха посмотрела на меня долго. Потом опустила ладонь на трость.

— Хорошо. Тогда скажите сами, Елизавета Андреевна. Какую роль вы готовы принять в доме?

Вопрос был лучше.

Не идеальный. Всё ещё с ожиданием роли. Но в нём было главное: «готовы принять». Не «должны». Не «полагается». Не «так было всегда». Дом тихо отозвался, словно тоже заметил разницу.

Я подумала.

Не для эффекта. Правда подумала.

Я могла сказать: никакую. И это было бы моё право. Могла сказать: я буду рядом только с Романом, а стая пусть сама. Тоже имела бы право. Но я уже знала, что дом не чужой. Люди в нём не приложение к Громову. Марта, Дина, Павел, Лука, дети, бывшие ложные пары, старшие, которые учатся медленнее, чем хочется, — все они стали частью моей жизни не потому, что меня назначили, а потому, что я сама столько раз входила в эту дверь.

— Я готова говорить с теми, кто боится, что за них снова решат, — сказала я. — Женщины, дети, бывшие ложные пары, тихие семьи, молодые оборотни, люди без стаи — неважно. Если они хотят говорить со мной, я буду. Не вместо Марты, не вместо Павла, не вместо Романа. Как Лиза Светлова. Я готова участвовать в кругах, где речь идёт о живом согласии, памяти, связях и праве уйти или остаться. Я готова спорить со старшими, если они опять начнут путать порядок с удобством. Я готова иногда чистить картошку, если Марта смирится с моей скоростью.

— Не смирюсь, — сказала Марта. — Но научу.

— И я готова быть рядом с Романом. Не как украшение его силы. Не как доказательство, что он теперь правильный альфа. А как женщина, которая выбрала его и будет иногда говорить ему неприятные вещи раньше остальных.

Громов тихо сказал:

— Уже говорит.

— И буду продолжать.

— Знаю.

Аглая Матвеевна кивнула.

— Это не похоже на старую роль жены альфы.

— Очень надеюсь.

— Но, возможно, — медленно сказала она, — новой стае и не нужна старая жена альфы.

И вот это было уже почти победой.

Не громкой. Не окончательной. Через неделю кто-нибудь снова скажет «вы должны» или «вам положено», и мне снова придётся объяснять, что я не прилагаюсь к Громову на правах защитной функции. Но сегодня старшая оборотница, которая ещё недавно говорила языком родовых порядков, признала возможность другой роли. Неплохой результат для вечера, начавшегося с булочки для крупного.

Круг закончился без криков. Это само по себе казалось чудом. Старшие ушли обсуждать новые формулировки, молодые — пересказывать всё тем, кто подслушивал хуже, Марта забрала булочки и объявила, что раз разговоры о статусах закончились, можно заняться нормальной жизнью, то есть ужином. Павел на экране выглядел так, будто одновременно пережил правовую битву и пропустил пирог. Дина помахала мне булочкой и сказала:

— Лиза, ты великолепна. Павел уже пишет раздел «Жена не должность».

— Я не пишу раздел с таким названием, — возмутился Павел.

— Пока.

Экран погас.

Мы с Громовым остались в гостиной почти одни. Барсик, конечно, не считал себя «почти», но он сидел на кресле, вылизывал лапу и делал вид, что человеческие статусы его не касаются, потому что в этом доме есть только один настоящий владелец.

Громов подошёл ко мне.

— Ты устала.

— Это вопрос или диагноз?

— Наблюдение.

— Немного.

— Жалеешь, что приехала?

Я посмотрела на него.

— Нет. Если я не приезжаю, вы говорите за меня. Даже правильно. А мне потом всё равно приходится приходить и объяснять, что я не музейный экспонат добровольной связи.

— Я бы не сказал музейный экспонат.

— Вы бы сказали короче. Поэтому страшнее.

Он почти улыбнулся.

— Возможно.

Мы вышли в коридор. Дом шумел вокруг, но уже мягче. Где-то на кухне Марта командовала ужином. Лука ругался в подвале. В детской кто-то смеялся. На улице темнело, и окна отражали тёплый свет. Я вдруг почувствовала, что могу уехать в свою квартиру — и могу остаться. Оба варианта были настоящими. Никто не закрыл ворота. Никто не держал связь на натяжении. Громов стоял рядом и ждал не как человек, который ждёт правильного ответа, а как человек, который готов услышать любой.

— Останешься сегодня? — спросил он.

Я подняла бровь.

— Как жена альфы обязана присутствовать при ужине?

— Нет.

— Как специалист по живому согласию должна наблюдать за стаей?

— Нет.

— Как человек, который принес булочки, несёт ответственность за их употребление?

Он посмотрел на меня с той тяжёлой серьёзностью, с которой только Громов мог участвовать в глупом разговоре.

— Это уже ближе.

Я засмеялась.

И в эту секунду дом отозвался тихим, почти довольным скрипом. Не архивным запоминанием. Домашним. Таким, каким старые стены отмечают: человек смеётся не потому, что выжил, а потому что живёт.

— Останусь, — сказала я. — Не по протоколу.

— Не по протоколу, — повторил он.

— И не потому что должна.

— Знаю.

— И если кто-то завтра принесёт мне список обязанностей жены альфы, я…

— Отправишь к Павлу?

— Сначала к Марте.

Громов задумался.

— Жестоко.

— Зато эффективно.

Он коснулся моей руки. Не браслета. Пальцев. Вопросительно, хотя уже имел право, и именно поэтому спрашивал не словами, а паузой. Я сама переплела наши пальцы.

— Пойдём ужинать, альфа без клетки, — сказала я.

— Пойдём, жена не по протоколу.

Я хотела возмутиться. Честно. Но не смогла, потому что в его голосе не было ни присвоения, ни старого права, ни насмешки над моим сопротивлением. Только тёплое, почти невозможное для прежнего Громова принятие: да, жена; да, не по протоколу; да, потому что сама сказала.

Мы вошли на кухню вместе.

И дом, шумный, переполненный, неправильный, живой, принял это не как назначение новой роли, а как ещё один вечер, где люди садятся за стол сами.

Глава 2. Альфа, который спрашивает

У новой добровольной стаи была одна большая проблема: она действительно была добровольной.

На словах это звучало красиво. Даже слишком красиво. Стая, которую не собрали силой, не прижали страхом к родовому знаку, не заставили склонить голову перед самым сильным зверем в комнате. Люди и оборотни, спасённые из старых дел, ложных пар, тихих семей, родовых долгов и собственных ужасов, сами выбрали остаться в доме Громова. Не навсегда, не кровью до седьмого колена, не по древнему договору, написанному так давно, что никто уже не помнил, кто именно тогда не умел читать мелкий шрифт. Просто выбрали. Вошли в круг, сказали «остаюсь», получили право выйти и, что оказалось самым трудным, право не превращать это «остаюсь» в пожизненное объяснение перед всеми.

На практике добровольность означала, что в доме каждый день кто-то с кем-то спорил.

Старшие хотели порядка. Не обязательно плохого. Иногда даже понятного. Они прожили слишком долго в мире, где промедление убивало быстрее жестокости, где слабая стая становилась добычей, где родовая кровь была не красивой легендой, а способом понять, кому можно доверить спину, ребёнка, раненого зверя, ключ от подвала и последнюю миску супа. Старшие не всегда были врагами свободы. Иногда они просто помнили слишком много могил, чтобы верить в мягкие слова. Поэтому, когда молодые говорили: «Мы хотим сами решать, идти ли на ночной патруль», старшие слышали: «Мы хотим оставить дом без защиты». Когда спасённые из тихих семей говорили: «Нам нужно время, чтобы понять, считаем ли мы себя частью стаи», старшие слышали: «Мы возьмём вашу защиту, но не дадим верности». Когда Дина на очередном круге сказала, что слово «обязан» надо выдавать под расписку и только после проверки психического состояния говорящего, Аглая Матвеевна закрыла глаза так, будто просила у всех предков терпения.

Молодые, разумеется, считали старших ходячими памятниками плохим привычкам.

Они хотели свободы сразу, громко и без этих бесконечных пояснений, почему любая дверь должна открываться не просто так, а с оглядкой на внешний периметр, родовые конфликты, состояние слабых связей, список людей под защитой и настроение дома. Молодые уже видели, к чему приводит старый порядок. Они слышали про ложные пары, видели Динину метку, знали, что Громова три года держали в клетке под красивыми словами об опасности. Поэтому на любое «так принято» реагировали как на запах дыма. Иногда правильно. Иногда совершенно невыносимо. Один из них, Арт, тот самый парень из старшей линии, который первым поддержал моё право быть внутри круга не как пара альфы, а как человек, теперь спорил со своим дедом каждый второй день и однажды заявил, что «старый порядок надо вынести за ворота и сжечь». Марта, проходившая мимо с корзиной белья, ответила, что сжигать они будут только мусор, а порядок пусть сначала попробуют постирать: вдруг часть грязи отойдёт.

Спасённые люди требовали защиты.

Не в плохом смысле. Они действительно нуждались в ней. Кто-то ещё не мог спать без света. Кто-то паниковал, если дверь закрывалась слишком плотно. Кто-то просыпался от того, что возвращённый звериный след шевелился под кожей, и бежал к Марте на кухню, потому что кухня почему-то стала в доме местом, где даже внутренний волк вёл себя приличнее. Кто-то узнавал, что его родители не родные, и ненавидел всех сразу: тех, кто украл, тех, кто воспитал, тех, кто вернул правду, и себя за то, что не знает, кого любить теперь. Кто-то хотел немедленно получить документы, имя, стаю, место за столом, право на гнев, право на помощь и право не быть благодарным. И всё это было справедливо. Просто справедливость в количестве тридцати человек под одной крышей быстро начинала пахнуть бессонницей.

Дом был полон.

Я поняла это особенно остро в тот вечер, когда попыталась пройти от лестницы до кухни и за пять минут успела: выслушать от мальчика-человека вопрос, может ли он стать оборотнем, если будет есть много мяса; заверить девушку из тихой семьи, что если она не хочет идти на круг знакомств, никто её не потащит; отобрать у двух подростков идею проверить, как дом реагирует на петарды; увернуться от Луки, который нёс ящик с инструментами и ругался на южный ход так, будто тот лично изменил ему с северным; наступить на хвост Барсику, получить от него взгляд, после которого слабые люди составляют завещание; и наконец добраться до кухни, где Марта поставила передо мной чашку чая и сказала:

— Пей, пока не начала всех спасать голыми руками.

— Я никого не спасала, — устало ответила я, садясь за стол.

— У тебя лицо человека, который уже морально спас троих и одного собирается усыновить, — сказала Марта, нарезая хлеб толстыми, безжалостными ломтями. — Пей.

Я пила.

Чай был горячий, травяной и подозрительно крепкий. После первых глотков мир не стал проще, но мне хотя бы перестало хотеться упасть лицом в стол. За окном темнело, дом гудел, где-то в коридоре Дина громко доказывала Павлу, что его новая памятка для пострадавших звучит так, будто её писал человек, который боится глаголов. Павел возражал, что глаголы в юридическом тексте требуют осторожности. Дина отвечала, что жизнь тоже требует осторожности, но люди всё равно иногда целуются. На этом месте Павел, кажется, подавился.

— Где Роман? — спросила я у Марты.

Марта даже не повернулась.

— Во дворе. Сначала были старшие. Потом молодые. Потом Орлов приехал. Потом какой-то мальчишка решил, что хочет уйти из дома, но не знает, можно ли уйти на два часа или это уже предательство. Роман пошёл открывать ему ворота.

Я поставила чашку на стол.

— Открывать ворота?

— Да. Великая альфья функция, между прочим. Раньше его дед этим бы не занимался.

— И что?

— Что-что. Мальчишка вышел, постоял за воротами, понял, что никто не бежит за ним с верёвкой, вернулся и попросил ужин.

Марта сказала это сухо, но я слышала в её голосе тепло.

— Это хорошо, — сказала я.

— Это утомительно, — ответила она. — Хорошо тоже, но утомительно.

Я нашла Романа во дворе, как и сказала Марта.

Он стоял у ворот, уже закрытых, но не запертых. Вечер был влажный, холодный, с низким небом и запахом мокрого камня. Двор после недавних дождей выглядел так, будто дом стаи решил попробовать стать нормальным жилым местом, но пока не понял, как это делается без драматического тумана. В окнах горел свет. На крыльце кто-то оставил детские сапоги. У стены лежали доски для ремонта южного хода. Над воротами тихо шевелилась старая защитная линия, теперь перестроенная Лукой так, чтобы не хватать всех подряд за горло, а сначала спрашивать у дома, кто идёт и с чем.

Громов стоял спиной ко мне.

Даже если бы связь между нами не была закреплена, я бы всё равно узнала его по этой спине. Слишком прямая, слишком напряжённая, слишком привыкшая быть стеной, чтобы легко научиться быть дверью. Он не обернулся сразу, но я почувствовала, что он знает: я вышла. Связь между нами тихо согрелась, как уголёк под золой. Иногда мне всё ещё было странно, что человек может ощущаться рядом даже до того, как посмотрит. Не как вторжение. Как погода внутри.

— Тебя Марта выгнала? — спросил он, не поворачиваясь.

— Напоила чаем. Это почти одно и то же.

— Значит, ты выглядела опасно.

— Для кого?

— Для себя. Для окружающих. Для ножа, которым ты споришь с картошкой.

Я подошла и остановилась рядом, не касаясь. Он стоял у ворот и смотрел на дорогу, ведущую вниз к старым складам и дальше к городу. Там, за мокрой темнотой, было всё то, что продолжало существовать после нашей победы: Бюро, старые стаи, люди, которые требовали правды, люди, которые боялись правды, новые документы Павла, переходный порядок Инессы, тихие семьи, которым только предстояло узнать себя, и какие-то будущие беды, о которых мы пока не знали. Дом за нашей спиной шумел. Город впереди молчал. Роман стоял между ними не как стена. Или пытался не быть стеной. Это было видно по тому, как трудно ему давалось просто стоять и не идти проверять всё сразу.

— Мальчик вернулся? — спросила я.

— Уже ест.

— И как?

— Громко.

— Хороший признак.

Громов помолчал.

— Он спросил, если уйдёт завтра на весь день, будет ли дом ждать.

— Что ты ответил?

— Что дом не вокзал. Но ждать будет.

Я улыбнулась.

— Поэтично.

— Марта сказала бы короче.

— Марта сказала бы: «Иди уже, только к ужину вернись».

— Примерно это я и имел в виду.

Он наконец повернул голову. В свете окна его лицо казалось ещё более резким: тёмная борода, усталые глаза, тонкая белёсая отметина на скуле, которую я всё время хотела тронуть, но не всегда позволяла себе сразу. Роман выглядел спокойным, но связь выдавала другое. Под спокойствием шла тяжёлая, густая усталость. Не физическая только. Та, что появляется у человека, который каждый день выбирает не самый привычный способ быть собой.

— Старшие снова давили? — спросила я.

Он коротко усмехнулся.

— Они называют это советами.

— Конечно. Давление с родословной всегда называется советом.

— Ратмир считает, что я слишком много спрашиваю.

— Неожиданная претензия к человеку, которого ещё недавно обвиняли в опасной властности.

— Теперь я опасно недостаточно властен.

— Растёте как личность. Уже раздражаете всех сторон.

Он посмотрел на меня с тем выражением, которое у него заменяло улыбку, когда он не хотел признавать, что ему смешно.

— Молодые тоже недовольны, — сказал он. — Им кажется, что если мы добровольная стая, то правил должно быть меньше.

— А ты?

— А я весь день объясняю, что добровольность — не отсутствие правил. Просто правила должны быть выбраны, а не спущены сверху. После третьего раза хочется спустить сверху что-нибудь тяжёлое.

— Например?

— Луку с его ящиком инструментов.

Я фыркнула.

— Лука бы не согласился быть педагогическим предметом.

— Зато был бы эффективен.

Мы замолчали.

Из дома донёсся крик Марты: она, кажется, поймала кого-то на попытке взять пирог до ужина. Потом голос Дины сообщил, что это не кража, а дегустация на предмет общественной безопасности. Марта ответила так, что даже через закрытые двери стало понятно: безопасность пирога будет обеспечена строгими методами. Громов слушал этот шум, и его лицо смягчилось почти незаметно. Если не знать его, можно было бы подумать, что он всё так же мрачен. Я знала. Шум его раздражал, утомлял, заставлял зверя постоянно держать уши насторожёнными. И одновременно этот шум лечил то, что три года сидело в тишине клетки.

— Иногда я думаю, — сказал он вдруг, — что старое право силы было проще.

Я не ответила сразу.

Не потому что удивилась. Я ждала этих слов. Не конкретно сегодня, не у ворот, не после мальчика, ушедшего на два часа и вернувшегося к ужину. Но ждала. Потому что никакая внутренняя перемена не отменяет того, что прежний способ жить был выучен костями. Громов мог выбрать новую стаю, мог отказаться быть клеткой, мог научиться спрашивать и стучать в закрытые двери. Но он не стал за три месяца другим существом. В нём всё ещё был альфа, которого учили: если не можешь удержать, потеряешь. Если спросишь слишком долго, погибнут. Если позволишь спорить, расколются. Если не будешь самым сильным голосом в комнате, комнату займёт кто-то хуже.

— Расскажи, — сказала я.

Он посмотрел на меня.

— Не будешь спорить?

— Буду. Потом. Сначала расскажи.

Это тоже оказалось важно: не бросаться сразу доказывать, что он не прав. Не превращать каждую его честность в поле боя. Если я хочу, чтобы он не прятал от меня старые мысли, надо дать им выйти наружу без немедленной казни.

Громов снова посмотрел на ворота.

— Когда я был мальчишкой, мой отец мог войти в зал и просто сказать: так будет. Никто не спорил. Не потому, что все были согласны. Потому что понимали, что решение принято. Это экономило время. Иногда спасало жизни. Два патруля на восточный край — идут. Женщин и детей в нижний дом — уходят. Молодым не приближаться к старому складу — не приближаются. Кто нарушил — отвечает. Жёстко, но ясно.

Он говорил ровно, без тоски по отцу, без попытки оправдать старое. Просто вытаскивал из себя то, что обычно оставалось за сжатой челюстью.

— Сейчас я говорю: кто готов идти на ночной обход? И начинается. Один хочет, но у него откат после возвращённого следа. Второй может, но не хочет дежурить с Ратмиром, потому что тот смотрит как на щенка. Третий считает, что сам принцип обходов слишком напоминает старую военную стаю. Четвёртый спрашивает, можно ли отказаться без объяснения причины. Пятый молчит, потому что боится, что если согласится, его будут считать постоянным бойцом. И все они по-своему правы. А периметр при этом сам себя не проверит.

— И хочется рявкнуть.

— Да, — сказал Роман. — Хочется рявкнуть. Иногда очень.

— Рявкал?

— Один раз.

— И?

Он поморщился.

— Трое сразу согласились идти. Один побледнел. Девушка из тихой семьи ушла в кухню и сидела там с Мартой полчаса. Дом в коридоре скрипел на меня до вечера.

— Дом умеет осуждать.

— Очень.

— А ты?

Он молчал дольше, чем раньше.

— Я понял, что получил быстрый результат. Но не тот.

Вот за это я его и любила, хотя слово «любила» всё ещё иногда проходило внутри осторожно, как по льду. Не за то, что он не ошибается. Он ошибался. Упрямился, давил, молчал, иногда смотрел так, что у людей просыпалась генетическая память о хищниках. А за то, что теперь он умел останавливаться после ошибки и видеть её не как поражение, а как часть пути.

— Старое право силы правда проще, — сказала я.

Он повернулся ко мне.

— Вот как?

— Конечно. Встал, рявкнул, все побежали. Никаких обсуждений, никаких травм, никаких вопросов, никаких добровольных отказов, никаких людей, которые сначала говорят «да», а потом понимают, что сказали из страха. Очень удобно.

— Ты издеваешься.

— Немного. Но не только. Простые способы часто удобны именно потому, что скрывают последствия. Рявкнул — периметр проверен. А что внутри у тех, кто пошёл, видно не сразу. Старый порядок вообще любил делать вид, что если в комнате тихо, значит, всё хорошо.

Громов опустил взгляд на свои руки. Большие, сильные, с едва заметными следами недавних ран, с тонким светом закреплённой связи у запястья. Руки человека, который мог бы удержать слишком многое. И должен был каждый день решать, что удерживать нельзя.

— Иногда мне кажется, что я просто стал слабее, — сказал он.

— Нет.

Я ответила быстро. Слишком быстро. Но тут не было места осторожности.

— Нет, Роман.

Он посмотрел на меня, и я увидела, что вопрос для него не риторический. Где-то глубоко, под новым альфой добровольной стаи, под мужчиной, который научился спрашивать, всё ещё сидел зверь из клетки и спрашивал: если ты не заставляешь, значит, не можешь? Если не держишь, значит, теряешь силу? Если люди спорят, значит, ты уже не альфа?

Я подошла ближе и положила ладонь на его предплечье.

— Ты не стал слабее, — сказала я. — Ты стал медленнее там, где раньше бил сразу. Это бесит. Изматывает. Иногда выглядит как слабость для тех, кто привык путать скорость с силой. Но это не слабость.

— Тогда что?

— Ответственность без насилия.

Он тихо усмехнулся.

— Звучит как Павел.

— Да, ужасно. Но смысл хороший.

— Надо будет сказать ему. Он будет счастлив.

— Не надо, он и так опасно вдохновлён.

Роман накрыл мою ладонь своей. Не сжал. Просто накрыл, как будто проверял, действительно ли я рядом.

— Проще — не значит правильнее, — сказала я.

Он закрыл глаза на секунду.

— Знал, что ты это скажешь.

— Тогда зачем признался?

— Хотел услышать от тебя.

Эти слова были негромкими. Почти будничными. Но в них было больше доверия, чем в десятке красивых признаний. Он не пришёл ко мне за разрешением быть старым Громовым. Не пришёл за осуждением. Пришёл, чтобы положить передо мной свою самую опасную усталость и услышать, что она не обязана управлять им.

— Ты имеешь право уставать от правильного, — сказала я. — Главное, не делай из усталости закон для всех остальных.

— А если сделаю?

— Тогда я скажу тебе неприятные вещи.

— При всех?

— Зависит от масштаба глупости.

Он почти улыбнулся.

— Справедливо.

— А если совсем плохо, подключим Марту.

— Жестоко.

— Эффективно.

Мы стояли у ворот, держась за руки поверх моей ладони на его предплечье, и дом за спиной жил своей невозможной жизнью. Я думала о том, что у любви после финала оказалось гораздо меньше музыки и гораздо больше организационных вопросов, чем обещают романы. Никто не предупреждает, что после того, как вы добровольно закрепили связь, разрушили архивного преступника, вернули украденные следы и поцеловались у двери, вам предстоит обсуждать график ночных обходов, травмы спасённых людей, статус жены альфы, хлеб из правильной булочной и то, почему добровольность не освобождает от мытья посуды. И всё же именно это было счастьем. Не чистым. Не лёгким. Не постоянно приятным. Живым.

К воротам подошёл Арт.

Он остановился в нескольких шагах, увидел наши соединённые руки, сделал вид, что не увидел, и от этого выглядел ещё более виноватым.

— Роман Владимирович, — сказал он. — Можно?

Громов не отпустил мою руку сразу. Сначала посмотрел на меня. Не спрашивая разрешения на разговор, а словно уточняя, не хочу ли я уйти. Я чуть кивнула: всё нормально. Тогда он повернулся к Арту.

— Говори.

Парень переминался с ноги на ногу. Молодой, злой, слишком гордый, чтобы показать страх, и слишком честный, чтобы хорошо его скрыть.

— Мы там… насчёт обхода. Мы можем идти четверо. Но не с Ратмиром.

— Почему? — спросил Громов.

Арт напрягся, будто ожидал рыка.

— Потому что он командует так, будто мы тупые. И если он ещё раз назовёт Нику щенком, она ему, конечно, не врежет, потому что воспитанная, но я могу.

— Не можешь, — сказал Громов.

Арт сжал челюсть.

— Я понял.

— Не потому, что он старший, — продолжил Роман. — Потому что если хочешь, чтобы к тебе относились не как к щенку, не начинай с драки во дворе.

Парень растерялся. Кажется, готовился к старому варианту разговора и теперь не знал, куда девать заготовленное возмущение.

— Тогда что?

— Скажешь ему при круге. Ника — сама, если захочет. Ты — за себя. Не за неё.

Арт помолчал.

— А если он не услышит?

— Тогда скажешь мне. И я поговорю с ним.

— А если он всё равно?

Громов посмотрел на него тем самым взглядом, от которого тётя Нина не продала бы несвежий батон.

— Тогда я поговорю иначе.

Арт выдохнул. В этом выдохе было облегчение: новый порядок не означает, что сильные вдруг стали декоративными.

— Хорошо. Тогда мы идём через двадцать минут?

— Через тридцать, — сказал Громов. — Сначала ужин.

— Мы не дети.

— Поэтому сами поймёте, почему голодный обход — плохая идея.

Арт хотел возразить, но из дома донёсся голос Марты:

— Арт! Если опять уйдёшь без ужина, я скажу Нике, что ты боишься каши!

Парень покраснел так стремительно, что я едва удержалась от улыбки.

— Через тридцать, — быстро сказал он и ушёл.

Громов смотрел ему вслед.

— Вот, — сказала я. — Спросил. Не рявкнул. Периметр всё равно будет проверен.

— И Ника, возможно, не ударит Ратмира.

— Почти управленческий успех.

— Почти.

Он отпустил мою руку, но только потому, что мы пошли обратно к дому. У крыльца нас встретил мальчик-человек с куском хлеба в руке и серьёзным выражением лица.

— Роман Владимирович, — сказал мальчик, — если я завтра уйду на три часа, дом будет ждать?

Громов остановился.

Я тоже.

Мальчик смотрел на него так, будто от ответа зависело не расписание прогулки, а сама возможность мира быть надёжным.

Роман присел перед ним на корточки, чтобы оказаться почти на одном уровне. Для человека его размера и характера это выглядело как отдельное чудо.

— Будет, — сказал он. — Но скажешь Марте, куда.

— Это правило?

— Да.

— Добровольное?

Громов задумался. Я видела, как он выбирает слова. Не рявкнуть. Не пошутить. Не сказать первое простое.

— Это правило для тех, кто хочет, чтобы его нашли, если случится беда, — сказал он наконец. — Ты можешь не говорить. Но тогда мы не сможем помочь быстро.

Мальчик подумал.

— Тогда скажу.

— Хорошо.

— А если я передумаю уходить?

— Тоже хорошо.

Мальчик кивнул, откусил хлеб и убежал.

Я смотрела на Романа.

— Что? — спросил он, поднимаясь.

— Ничего. Просто альфа, который спрашивает.

Он поморщился.

— Звучит как название обучающей брошюры Павла.

— Или как страшная легенда для старших оборотней.

— Они не переживут.

— Переживут. Марта их накормит.

Мы вошли в дом.

На кухне действительно был ужин. Шумный, тесный, с чужими локтями, горячими тарелками, спорами о дежурствах, детским смехом, недовольным Барсиком, который занял стул и не собирался уступать его никакому высокому альфе, с Мартой, раздающей еду так, будто командует армией, и с Ратмиром, который сидел рядом с Никой и, к моему удивлению, очень аккуратно спрашивал, как ей удобнее распределить ночной обход. Возможно, Аглая Матвеевна уже успела с ним поговорить. Возможно, дом скрипнул нужной дверью. Возможно, люди иногда меняются не только после больших битв, но и после того, как кто-то вовремя не рявкнул.

Громов сел рядом со мной.

Не во главе стола. Просто рядом. Кто-то из старших заметил, но промолчал. Кто-то из молодых тоже заметил и улыбнулся. Марта поставила перед Романом тарелку и сказала:

— Ешь, альфа. Спрашивать будешь после супа.

— Это приказ? — спросил он.

— Это забота в форме угрозы, — ответила Марта. — Не путай.

Я рассмеялась.

Громов посмотрел на меня, и связь между нами тихо, глубоко согрелась. В этом тепле не было ни протокола, ни судьбы, ни красивой неизбежности. Только вечер, шумный дом, трудная стая, мужчина, который устал быть правильным, но всё равно выбрал не быть проще, и я рядом — не потому что должна, а потому что хотела остаться за этим столом.

Новая добровольная стая была проблемой.

Большой, громкой, утомительной, полной споров, травм, глупостей, правил, которые ещё предстояло написать, и людей, которые не всегда знали, чего хотят.

Но когда мальчик-человек, уже доедая хлеб, вдруг спросил Марту, можно ли завтра взять с собой ещё кусок «на три часа ухода», а Ратмир молча подвинул к Нике солонку, чтобы не перебивать её мысль о маршруте обхода, я подумала, что, возможно, именно так и выглядит что-то настоящее в первые месяцы жизни.

Не строй.

Не приказ.

Не тишина.

Шумный стол, где каждый понемногу учится спрашивать.

Глава 3. Первый исчезнувший след

Первый исчезнувший след принесли в дом вместе с дождём.

До этого утро было почти нормальным, если слово «нормальное» вообще можно было применять к дому, где за завтраком один бывший объект незаконного содержания спорил с оборотницей из старшей линии о том, имеет ли право овсянка называться едой, если в ней нет мяса, а Лука пытался объяснить троим подросткам, что защитный контур не предназначен для того, чтобы проверять, кто из них быстрее проскочит через южный ход до срабатывания предупреждения. Марта стояла у плиты в фартуке, с деревянной ложкой в руке и выражением лица полководца, которому досталась армия идиотов. Роман пил кофе у окна, молчал и одним своим присутствием удерживал кухню от превращения в открытое собрание с элементами погрома. Я сидела рядом, ела гренку и пыталась читать документ Павла о порядке временного выхода из стаи, но на третьей странице окончательно убедилась, что если он ещё раз употребит словосочетание «субъективно подтверждённое намерение отсутствия», Дина всё-таки сделает с ним что-нибудь незаконное, и суд её поймёт.

— Это надо переписать человеческим языком, — сказала я, перечитывая абзац.

— Павел считает, что человеческий язык слишком опасен, — отозвалась Дина, сидевшая напротив и мрачно ковырявшая ложкой кашу. — На человеческом языке можно случайно понять, о чём речь.

— У него хорошая задача, — заметила я. — Он пытается сделать так, чтобы человек мог уйти из дома и не чувствовал себя предателем.

— Тогда пусть так и напишет, — сказала Дина. — «Если вы хотите уйти, вы можете уйти. Если хотите вернуться, дверь не кусается». Всё. Я спасла юридическую реформу.

— Дверь иногда кусается, — пробормотал Лука, проходя мимо с кружкой. — Если некоторые умники лезут туда, куда не надо.

— Некоторые умники тренируют реакцию, — возразил Арт из дальнего конца кухни.

— Некоторые умники тренируют моё терпение, — сказал Лука и ткнул в него пальцем. — А оно, в отличие от контура, не обновлялось.

Громов поднял взгляд от чашки.

— После завтрака все трое, кто вчера бегал через южный ход, помогут Луке с ремонтом.

— Мы же добровольная стая, — осторожно сказал один из подростков.

Роман посмотрел на него спокойно, без рыка, без давления, но так, что даже чайник на плите, кажется, вскипел тише.

— Добровольная, — сказал он. — Поэтому вы добровольно решаете, помогаете Луке сами или сначала слушаете, как Марта объясняет, почему портить дом плохо.

Марта повернулась от плиты.

— Могу начать сейчас, — предложила она.

— Мы поможем Луке, — быстро сказал Арт.

— Мудро, — сказала я.

Роман посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло почти незаметное веселье. Он всё ещё учился спрашивать. Дом всё ещё учился отвечать без страха. Молодые всё ещё учились тому, что свобода не отменяет последствий. Я всё ещё училась не вмешиваться в каждый спор, где кто-то произносил слово «право» таким тоном, будто собирался прикрыть им глупость. В общем, утро было почти обычным.

Потом в дверь постучали.

Не в главный вход. Не в ворота, где контур мягко предупреждал дом о гостях, не в боковую дверь, которой пользовались свои, не в кухонный ход, через который Марта впускала поставщиков и выгоняла тех, кто пытался стащить пироги раньше времени. Постучали в ста-

рую северную дверь, которой почти никто не пользовался после перестройки защиты. Три коротких удара. Пауза. Ещё два. Не код, не знак старой стаи, не условный сигнал Бюро. Просто стук человека, который долго стоял под дождём и наконец решился попросить, чтобы его услышали.

Дом замолчал раньше людей.

Это было странное ощущение. Не тишина, а задержанный вдох. Скрип половиц где-то в коридоре прекратился. Защитная линия в стенах дрогнула, не вспыхнула тревогой, не выставила шипы, но насторожилась так резко, что у меня холодок прошёл по затылку. Громов поставил чашку на стол. Барсик, до этого сидевший на подоконнике и с презрением наблюдавший за завтраком двуногих, резко поднял голову и уставился в сторону коридора.

— Кто у северной двери? — спросила Марта тихо.

Лука уже шёл к выходу, но Роман остановил его движением руки.

— Я, — сказал Громов.

— Я с тобой, — сказала я, вставая.

Он посмотрел на меня. В его взгляде мелькнуло старое желание сказать «останься», но оно не стало словом. Он только кивнул.

— Рядом, — сказал он.

— Не за спиной, — уточнила я.

— Рядом, — повторил Роман.

Дина тоже поднялась, но Марта положила ей ладонь на плечо.

— Ты сидишь, — сказала Марта.

— Почему это?

— Потому что если там беда, на кухне тоже должен остаться кто-то с головой.

— У меня голова? — подозрительно спросила Дина.

— Иногда, — ответила Марта. — Не порть момент.

Северная дверь находилась в узком коридоре, где пахло старым деревом, мокрым камнем и чем-то холодным, принесённым извне. Когда мы подошли, стук повторился. На этот раз слабее. Громов остановился за два шага до двери, чуть наклонил голову, прислушиваясь не только ушами. Я знала это его выражение: зверь внутри открывал глаза, проверял воздух, отделял живое от угрозы, страх от лжи, человека от того, что притворяется человеком.

— Одна, — сказал Роман. — Женщина. Человек. Очень напугана.

— Опасность?

Он помолчал.

— Не от неё.

Это было неприятное уточнение.

Громов открыл дверь сам.

На пороге стояла женщина лет пятидесяти, мокрая так, будто шла под дождём долго и без зонта, хотя в руке у неё был сложенный зонт с погнутой спицей. Невысокая, полная, в сером пальто, с прядями русых волос, прилипшими к вискам, она обеими руками прижимала к груди старую сумку. Лицо у неё было странно неподвижное. Так выглядят люди, которые плакали слишком долго, а потом перестали, потому что слёзы больше не помогали удерживать мир от распада.

— Здесь Роман Громов? — спросила женщина.

Голос у неё был хриплый, но вежливый. Даже сейчас. Даже стоя под дождём у северной двери дома, который для многих в городе всё ещё оставался местом слухов, опасных оборотней и старых дел.

— Я Громов, — сказал Роман. — Входите.

Женщина посмотрела через его плечо в коридор, словно боялась, что за ним окажется не дом, а клетка.

— Я не знаю, можно ли мне, — сказала она. — Я не из ваших. Я вообще не…

— Можно, — сказала я, шагнув чуть ближе. — Вы промокли. Входите.

Она перевела взгляд на меня, и в её глазах я увидела узнавание. Не личное, а то, которое теперь иногда появлялось у незнакомых людей: они видели фотографии с открытых слушаний, слышали моё имя в пересказах, читали обрывки городских обсуждений. Свидетельница крови. Жена альфы. Та самая, которую по ошибке связали с Громовым. Та самая, которая потом почему-то осталась. В этих взглядах всегда было что-то неловкое, будто люди не знали, кем я для них являюсь: доказательством надежды или ещё одним опасным исключением.

— Елизавета Светлова? — спросила женщина.

— Да, — ответила я. — Но можно просто Лиза.

От этого она вдруг дрогнула. Будто простое имя оказалось последней каплей. Губы у неё задрожали, и сумка в руках сжалась сильнее.

— Меня зовут Вера Осипова, — сказала она. — У меня пропал сын.

Громов не стал задавать вопросы в коридоре.

Через несколько минут Вера Осипова сидела на кухне, завернутая в мартин тёплый платок, с чашкой чая перед собой и тарелкой, к которой она не прикасалась. Дом снова шумел, но уже иначе: приглушённо, осторожно. Подростков отправили в подвал помогать Луке, хотя Лука через пять минут всё равно вернулся, потому что услышал слово «пропал» и сделал вид, что ему срочно нужен нож для проводки. Дина села у окна, скрестив руки на груди. Марта стояла у плиты, но больше не командовала. Громов занял место напротив Веры Осиповой, не давя близостью, не нависая, даже плечи чуть развернул так, чтобы не выглядеть стеной. Он умел быть страшным, но сейчас сознательно этого не делал. Я села рядом с женщиной, оставив между нами достаточно расстояния, чтобы она не чувствовала себя пойманной.

— Расскажите с начала, — сказал Роман.

Вера Осипова кивнула. Пальцы её дрожали на чашке.

— Его зовут Матвей. Матвей Осипов. Ему двадцать четыре. Он… — Она запнулась, будто слово всё ещё не помещалось во рту. — Он оборотень. Мы узнали недавно. После всех этих дел, когда начали проверять тихие семьи. Нам пришли люди из переходной службы. Очень вежливые. Всё объяснили. Сказали, что Матвея передали нам младенцем по старой программе. Я не знала. Клянусь, я не знала. Мы с мужем думали, что это обычное закрытое усыновление. Нам сказали, мать отказалась, отец неизвестен, ребёнку нужен дом. Мы взяли его. Мы любили его. Я люблю его.

— Мы вам верим, — сказала я тихо.

Женщина посмотрела на меня с такой благодарностью, что мне стало стыдно за то, как мало иногда нужно человеку, чтобы не развалиться: просто услышать, что его не записали в преступники до первого вдоха.

— Сначала Матвей держался, — продолжила Вера Осипова. — Шутил. Говорил, что всегда знал, что слишком красивый для нашей семьи. Муж смеялся, я плакала. Потом начались сны. Запахи. Он стал слышать соседей через стену, чувствовать, когда я боюсь, даже если я молчу. Переходная группа сказала, что это нормально, что нужен наставник, время, мягкое включение. Мы ходили на встречи. Всё делали. Но ему было тяжело. Он говорил, что будто всю жизнь был человеком, а теперь под кожей проснулся кто-то чужой.

Я слушала и думала о девушке из вчерашней консультации, о её страхе перед воем во сне, о том, как легко чужие взрослые решения догоняют человека через двадцать лет и требуют радоваться правде. Правда лучше лжи. Я всё ещё в это верила. Но правда, пришедшая поздно, всегда приходит с долгом за все годы молчания.

— Когда он пропал? — спросил Громов.

— Вчера вечером, — ответила Вера. — После работы. Он работает в мастерской, чинит музыкальные инструменты. Скрипки, гитары, старые пианино. У него руки… — Она посмот-

рела на свои ладони и сжала их. — У него очень хорошие руки. Он должен был вернуться к восьми. В девять написал, что встретил людей, которые понимают таких, как он. Я позвонила, но он не взял. Потом пришло сообщение: «Мам, не бойся. Они говорят, можно жить без зверя». Я сразу поняла, что что-то не так.

— Почему? — спросил Лука, стоявший у двери.

Вера Осипова повернулась к нему.

— Потому что он называл меня «мам». Не «мама». Когда хотел меня успокоить, писал «мамочка» или «мамуль». А тут — «мам». Как будто… — Она замолчала и втянула воздух. — Как будто писал не он, а кто-то, кто знает, как сыновья обращаются к матерям, но не знает моего Матвея.

В кухне стало тихо.

Даже Дина перестала стучать пальцами по локтю.

— Дальше? — мягко спросила я.

— Я поехала туда, где он должен был быть. Мастерская закрыта. Соседний двор пустой. Камеры у подъезда не работали, их как раз меняли. Я позвонила в службу, но там сказали, что нужно ждать сорок восемь часов, если нет признаков насилия. Я сказала, что он оборотень, что это может быть связано с его следом. Они ответили, что передадут информацию дежурному специалисту. Я не стала ждать.

— Почему пришли к нам? — спросил Громов.

Женщина открыла сумку и достала сложенный листок. Бумага была мокрой по краям, но текст сохранился. Она положила листок на стол, словно боялась держать его дольше.

На листке было всего несколько строк, напечатанных ровным серым шрифтом.

«Если зверь проснулся без вашего согласия — это не судьба.

Если стая зовёт вас по крови — это не дом.

Свобода возможна.

Белый круг слышит тех, кто не хочет быть ничьим».

Под текстом был нарисован тонкий белый круг. Не печать, не эмблема в привычном смысле. Скорее пустое место, обведённое линией.

Марта медленно вытерла руки полотенцем.

— Где вы это взяли? — спросила она.

— У Матвея в комнате, — ответила Вера. — Он спрятал в книге. Я нашла ночью, когда искала хоть что-нибудь. Потом вспомнила, что неделю назад он говорил о каких-то людях. Не хотел рассказывать. Сказал только: «Они не из Бюро и не из стай. Они хотя бы не делают вид, что зверь — подарок». Я думала, это группа поддержки. Сейчас уже не думаю.

Лука взял листок двумя пальцами, поднёс ближе, но не нюхал сразу. Посмотрел на Громова. Тот едва заметно кивнул.

— Запаха почти нет, — сказал Лука через несколько секунд. — Бумага магазинная. Печать обычная. Но по краю… странно.

— Что именно? — спросила я.

— Пусто, — ответил он.

Дина фыркнула, но без обычной насмешки.

— Очень техническое описание.

Лука нахмурился.

— Я серьёзно. Бумага была в комнате человека. В сумке женщины. Под дождём. На ней должны быть запахи. Много. А вот по этому краю — ничего. Как вымыто. Нет, не вымыто. Вырезано.

Вера Осипова побледнела.

Громов поднялся.

— Где он исчез?

— Я покажу, — сразу сказала женщина.

— Вы останетесь здесь, — сказал Роман. И тут же, поймав мой взгляд, добавил уже иначе: — Вам безопаснее остаться здесь. Марта даст вам сухую одежду. Если вы хотите поехать с нами, я не стану запрещать, но на месте может быть тяжело.

Вера Осипова посмотрела на него, потом на меня.

— Я поеду, — сказала она. — Если там хоть что-то от него осталось, я должна быть рядом.

Громов кивнул.

— Хорошо.

— Я тоже, — сказал Лука.

— Это даже не обсуждается, — добавил он, когда Роман посмотрел на него.

— Орлова вызови, — сказал Громов.

— Уже, — ответила Дина, показывая телефон. — И Павла. Павел сначала сказал, что у него слушание. Я сказала «исчезнувший след». Он написал, что едет.

— Ты написала ему в две буквы? — спросила я.

— Я умею быть убедительной кратко, — сказала Дина.

Место, где исчез Матвей Осипов, оказалось обычным до зевоты.

Именно это пугало больше всего.

Не заброшенный склад, не подвал, не старый медцентр, не странный дом с закрытыми окнами и неприятной историей. Просто квартал между мастерской музыкальных инструментов и остановкой трамвая. Дождь смыл большую часть человеческой суеты, но не всю: мокрый асфальт блестел под фонарями, из ближайшей пекарни тянуло дрожжевым тестом, у подъезда кто-то курил, на остановке ругалась пара студентов, под навесом лежала забытая рекламная газета. Город жил так, будто один человек не мог исчезнуть из его ткани бесследно. Но Вера Осипова, выйдя из машины, сразу остановилась и закрыла рот ладонью.

— Здесь, — сказала она.

Мы стояли у узкого прохода между домами, где тротуар сворачивал к маленькому скверу. По словам Веры, Матвей обычно ходил именно этой дорогой: меньше людей, тише, можно пройти мимо старого фонтана, который не работал уже лет десять. Роман остановился у входа в проход. Его лицо изменилось. Не стало страшнее внешне, но я почувствовала через связь, как зверь внутри него резко поднялся.

— Что? — спросила я.

Он не ответил сразу. Сделал шаг вперёд, вдохнул. Ещё один. Его ноздри чуть дрогнули, взгляд стал тяжёлым, сосредоточенным. Лука присел у стены, провёл пальцами над мокрой плиткой, не касаясь. Вера стояла рядом со мной, сжимая сумку так, будто это была последняя вещь, связывающая её с сыном.

— Ничего, — сказал Громов наконец.

— След смыло дождём? — спросила Вера.

Роман посмотрел на неё, и по тому, как он выбирал ответ, я поняла: правда будет плохой.

— Дождь не смывает всё, — сказал он. — Тем более у оборотня, который недавно вошёл в след. Он должен был оставить много. Страх, растерянность, звериный отклик. Даже если его увезли машиной, даже если он ушёл сам, здесь что-то осталось бы.

— Но? — спросила я.

— Ничего, — повторил Роман. — Не мало. Не слабо. Не испорчено. Ничего.

Лука выругался тихо, но очень выразительно.

— Я думал, у меня одного так, — сказал он.

Орлов приехал через семь минут. Для человека без официальных полномочий в этом участке города он двигался удивительно быстро. Вышел из машины в тёмном пальто, с мокрыми волосами, оглядел нас, задержал взгляд на Вере Осиповой и сразу стал чуть мягче.

— Максим Орлов, — представился он. — Я помогаю Громову по внешним делам. Ваше имя?

— Вера Осипова, — ответила женщина.

— Мы найдём всё, что сможем, — сказал Орлов. Не «найдём сына». Не обещание, которое нельзя давать. Только то, что можно удержать.

Павел приехал ещё через десять минут, в расстёгнутом пальто, с папкой под мышкой и выражением лица человека, который по дороге уже успел придумать три правовых основания для незаконного проникновения в чужие камеры видеонаблюдения и теперь страдает от того, что все они ему не нравятся. Дина, вопреки обещанию остаться в доме, вышла из его машины следом.

— Не начинай, — сказала она мне сразу.

— Я ещё ничего не сказала.

— У тебя лицо.

— У меня лицо всегда.

— Вот именно.

Павел подошёл к Вере, представился, очень вежливо и очень осторожно задал несколько уточняющих вопросов. Когда женщина снова показала сообщение от Матвея, он прочитал его трижды и мрачно сжал губы.

— Фраза «можно жить без зверя» уже встречалась, — сказал Павел.

Громов повернулся к нему.

— Где?

— В двух жалобах после консультаций по тихим семьям. Не исчезновения. Пока нет. Молодые оборотни заявляли, что не хотят включаться в стайные программы, потому что существуют альтернативные группы поддержки. Я не придал значения, потому что после старых преступлений недоверие к стаям закономерно.

— Название? — спросил Орлов.

Павел посмотрел на листок с белым кругом.

— Не было. Но формулировки похожи.

Дина обошла нас и остановилась у входа в проход. Она не была оборотнем и не обладала звериным чутьём, но после браслета, меток и всего, что с ней сделали, научилась чувствовать некоторые неправильности кожей. Сейчас она стояла, держа руки в карманах, и смотрела на мокрый асфальт.

— Здесь противно, — сказала она.

— Конкретнее? — попросил Лука.

— Никак. И это противно.

Он поднял на неё взгляд.

— Вот. Ты понимаешь.

Мы прошли вглубь прохода.

Фонарь над старым фонтаном мигал, бросая на плитку рваный жёлтый свет. Вода в чаше стояла грязная, дождевая, с плавающими листьями и окурками. За фонтаном начиналась низкая арка, ведущая к парковке. Обычное место. Слишком обычное. Если бы Матвей просто встретился здесь с кем-то, они оставили бы запахи. Если бы его схватили — страх. Если бы он пошёл добровольно — след движения. Если бы рядом были оборотни — звериный фон. Если бы люди — хотя бы пот, ткань, дешёвый парфюм, кофе, городская пыль. А здесь всё было так чисто, что становилось грязно от самой невозможности чистоты.

— Как будто пятно вырезали из реальности, — сказала я тихо.

Громов посмотрел на меня.

— Да.

Вера Осипова тихо всхлипнула.

Я сразу пожалела о словах.

— Простите, — сказала я.

— Нет, — ответила она, мотнув головой. — Говорите. Пожалуйста, говорите правду. Я уже устала от тех, кто утешает так, будто я глупая.

Это было так просто и так страшно, что я не нашлась, что ответить.

Лука тем временем ушёл к арке и присел у правой стены. Достал из внутреннего кармана маленький металлический футляр, щипцы, тонкую стеклянную пластинку. С виду он был всё тем же раздражительным мастером, который ругался на подростков и южный ход, но в работе становился почти другим человеком: быстрым, точным, внимательным к тому, что остальные не замечали.

— Здесь, — сказал он.

Мы подошли.

На тёмной плитке у самой стены лежало что-то белёсое.Почти незаметное. Дождь должен был смыть это первым, но крупинки почему-то держались в тонкой трещине между плитами. Лука поднёс к ним щипцы, но не стал касаться сразу.

— Не серебро, — сказал он.

— Уверен? — спросил Орлов.

— Если бы это было серебро, Роман бы уже чувствовал ожог следа. И я бы тоже. Это другое.

Громов присел рядом. Я почувствовала, как связь между нами на мгновение натянулась: его зверь хотел приблизиться, проверить, взять опасность на себя. Он остановился. Не потому что не боялся. Потому что теперь умел не превращать страх в движение.

— Что делает? — спросил он.

Лука наконец взял несколько крупинок на стекло. Белый порошок казался почти красивым в свете фонаря: матовый, сухой, с едва заметным перламутровым отблеском.

— Не знаю, — сказал Лука. — Но вокруг него пустота плотнее.

— Плотнее? — переспросила Дина.

— Да. Смотри.

Он достал из футляра маленькую полоску тёмной ткани, провёл ею по своему запястью, потом осторожно поднёс к порошку, не касаясь. Через секунду ткань дрогнула, словно её потянуло невидимым холодом. Лука убрал руку и показал нам край полоски. На ней было едва заметное светлое пятно.

— Это мой след, — сказал он. — Вернее, был. Ткань держала запах. Теперь по краю его нет.

Вера Осипова побелела ещё сильнее.

— Что это значит для Матвея? — спросила она.

Никто не ответил сразу.

Потому что честный ответ был: мы не знали.

Павел снял очки, вытер их, хотя дождя на них почти не было.

— Это вещество воздействует на индивидуальный след? — спросил он.

— На звериный точно, — сказал Лука. — На человеческий, возможно, тоже. Но звериный выедает глубже.

— Выедает? — переспросила Вера.

Лука посмотрел на неё и впервые за всё время смутился. Не привык подбирать мягкие слова. Не умел врать. Поэтому сказал осторожно, но прямо:

— След — это не душа, Вера Сергеевна. Не сам человек. Это то, как он остаётся в мире для тех, кто может его почувствовать. Обычно даже после смерти что-то есть. Слабое, уходящее, но есть. Здесь… здесь место стало таким, будто Матвей не проходил. Но мы знаем, что проходил. Значит, это сделали.

Женщина закрыла глаза. По лицу у неё потекли слёзы, но она стояла ровно.

— Он жив? — спросила она.

Громов поднялся.

— Мы не нашли признаков смерти, — сказал он. — Это всё, что я могу сказать честно.

Она кивнула.

— Спасибо.

Павел уже говорил по телефону, требуя доступ к камерам квартала не через «обычный запрос», а по линии угрозы людям с возвращённым звериным следом. Орлов проверял арку и парковку, отмечая точки, где могли стоять машины. Дина ходила вдоль фонтана, хмурясь, будто пыталась поймать не запах, а чужую логику. Лука убрал стекло с порошком в герметичный контейнер, потом достал второй и взял пробу из трещины. Роман стоял рядом со мной и смотрел на пустое место у стены.

Я тихо спросила:

— Ты что-нибудь чувствуешь?

— Нет, — ответил он.

— Совсем?

— Совсем.

Это слово в его устах прозвучало страшнее рыка.

Потому что Роман Громов мог чувствовать почти всё. Страх за дверью, ложь в паузе, зверя под человеческой кожей, дом, который принимал или не принимал. Его мир был плотным, живым, переплетённым запахами, следами, тёплыми линиями присутствия. И теперь перед ним лежал кусок города, из которого чью-то жизнь вырезали так аккуратно, что даже зверь не мог понять, куда смотреть.

— Это не Мертин, — сказала я.

Не знаю, почему сказала именно так. Наверное, потому что внутри уже успел подняться старый страх: опять чужая система, опять люди как материалы, опять следы, связи, процедуры, слова, за которыми прячется насилие. Но это было другое. Я чувствовала. Не холод архива, не липкое желание сохранить и подчинить. Здесь была пустота. Чистая, белая, почти стерильная.

— Нет, — сказал Роман. — Не он.

— Хуже?

Он не ответил.

Иногда молчание не означает согласие. Иногда оно означает, что человек пока не знает, как назвать новую опасность и не хочет давать ей старое имя.

Дина подошла к нам и протянула телефон.

— Камера с пекарни, — сказала она. — Хозяин скинул Павлу, потому что Павел сказал что-то длинное и страшное. Смотрите.

На экране была мутная запись: дождь, фонарь, проход между домами. Время — 20:47. Матвей Осипов появился в кадре слева. Высокий парень в тёмной куртке, с капюшоном, рюкзаком за плечом. Он шёл быстро, но не бежал. Потом остановился. К нему подошли двое.

Один высокий, худой, в светлом плаще. Второй ниже, с зонтом. Лиц не было видно. Они не хватали Матвея, не угрожали. Стояли на расстоянии. Разговаривали. Матвей отступил на шаг, потом снова приблизился. Человек с зонтом протянул ему что-то — маленькую белую карточку или полоску бумаги. Матвей взял. Через несколько секунд все трое вышли из зоны камеры в сторону арки.

— Дальше камеры нет, — сказала Дина. — На парковке запись как будто сдохла на восемь минут. Потом снова работает. Машин новых нет. Людей нет.

— Они ушли пешком? — спросила я.

Орлов взял телефон, прокрутил запись назад.

— Или место перехода было не на парковке.

— Перехода? — переспросила Вера.

— Машина могла стоять вне камеры, — быстро сказал Орлов. — Пока рано делать выводы.

Но я видела его лицо. И лицо Громова. И то, как Лука сжал контейнер с белым порошком.

На записи Матвей не выглядел похищенным. Он выглядел человеком, который услышал то, что хотел услышать. Человеком, которому сказали: твоя боль не обязательна, твой зверь не судьба, ты можешь стать свободным. И он пошёл. Возможно, сам. Возможно, почти сам. Самое страшное насилие всегда начинается там, где человек успевает назвать первый шаг своим.

Вера Осипова смотрела на экран, не отрываясь.

— Это он, — прошептала она. — Матвей.

Она потянулась к телефону, но не взяла. Только коснулась пальцем размытой фигуры сына.

— Что они ему сказали? — спросила она. — Что можно было сказать, чтобы он пошёл?

Никто не ответил.

Потому что каждый из нас, наверное, уже знал.

Можно было сказать: ты не обязан быть чудовищем. Можно было сказать: стая не имеет права на твою кровь. Можно было сказать: родители любили тебя, но не знали настоящего тебя, а мы знаем. Можно было сказать: боль уйдёт. Можно было сказать: внутри тебя проснулся зверь без твоего согласия, и мы вернём тебе тишину.

Тишина.

Я вдруг вспомнила, как в первой книге боялась связи с Романом, боялась, что моё чувство не моё, что кровь и ошибка в протоколе решат за меня. Если бы тогда кто-то пришёл и сказал: «Мы можем сделать так, что ты больше ничего не почувствуешь», — что бы я ответила? Я хотела верить, что послала бы его к чёрту. Но честность неприятна именно тем, что иногда не позволяет делать из себя героиню задним числом.

— Лиза, — тихо сказал Роман.

Я подняла голову.

Он смотрел не на порошок и не на запись. На меня.

— Я здесь, — сказала я.

Не знаю, зачем. Может быть, потому что он почувствовал, куда провалилась моя мысль. Может быть, потому что мне самой нужно было услышать собственный голос.

Связь между нами отозвалась теплом. Живая. Добровольная. Не чистая от боли, не стерильная, не простая. Но моя. Наша.

Лука закрыл контейнер.

— Я заберу это в дом, — сказал он. — Проверю на контуре, крови, зверином следе. Без живых экспериментов, — добавил он, заметив мой взгляд. — Я не идиот.

— Иногда спорно, — сказала Дина.

— Сейчас не время.

— Поэтому сказала тихо.

Павел вернулся к нам, убирая телефон.

— Я подал срочный запрос на все камеры вокруг квартала и уведомил Инессу. Официально пока это исчезновение человека с особым статусом после контакта с неизвестной группой. Неофициально… — Он посмотрел на белый круг на мокром листке в прозрачном пакете. — Неофициально у нас начинается новая беда.

— Белый круг, — сказала Вера Осипова.

Она произнесла эти слова не как название, а как приговор.

Дождь усилился. Белые крупинки в трещине между плитами уже почти исчезли, растворяясь или прячась глубже, но пустота вокруг них оставалась. Я смотрела на это место и понимала, что дом стаи со всеми его спорами, шумом, трудными правилами и утомительной свободой был только началом. Кто-то уже шёл к тем, кому эта свобода показалась слишком тяжёлой. Кто-то предлагал им другой путь: не выбирать, не терпеть, не учиться жить со зверем, памятью, болью, любовью, связями. Просто обнулить всё, что болит.

Громов наклонился к трещине в плитке, вдохнул ещё раз и выпрямился. В его глазах было то выражение, которого я не видела со времён Мертина. Не ярость ещё. Не охота. Холодное понимание, что кто-то тронул живого человека и оставил после него место, где даже зверь не может сказать матери: «он был здесь».

— Найдём, — сказал Роман.

Вера Осипова посмотрела на него.

— Матвея?

— Сначала след, — ответил он. — Потом тех, кто его забрал. Потом Матвея.

— А если следа нет?

Громов посмотрел на пустую плитку, на белую крупинку у стены, на мокрый проход, где город сделал вид, что ничего не случилось.

— Значит, найдём то, что его съело, — сказал он.

И впервые за эти месяцы я почувствовала, как дом далеко за нашими спинами откликнулся через связь тревожным, низким гулом.

Не приказом.

Не зовом.

Предупреждением.

Глава 4. Белый круг

Орлов приехал к дому стаи ближе к полуночи и привёз с собой папку, флешку, два стакана отвратительного кофе из круглосуточной заправки и лицо человека, который нашёл плохие новости, но ещё не решил, в каком порядке их выкладывать, чтобы не взорвать комнату сразу.

Дом к этому времени не спал. В обычном смысле он вообще редко теперь спал, потому что под одной крышей жили люди, у которых были разные биографии, разные звери, разные страхи и совершенно несовместимые представления о том, во сколько начинается тишина. Но после исчезновения Матвея Осипова бодрствование стало другим. В коридорах говорили тише. На кухне Марта не ругалась, а молча ставила перед людьми чай, суп, хлеб, что-то сладкое, как будто еда могла удержать от распада не только тело, но и домовую надежду. Лука закрылся в подвале с контейнером белого порошка и дважды прислал наверх сообщение: «Не заходить». На третий раз Дина ответила ему: «Не мечтай, мы и не хотели», после чего всё равно спустилась к двери подвала и сидела на верхней ступеньке, потому что считала это не нарушением приказа, а психологической поддержкой через угрозу вторжения.

Вера Осипова осталась в гостевой комнате на втором этаже. Марта выдала ей сухую одежду, горячий чай и такое одеяло, под которым можно было пережить не только дождь, но и конец света средней тяжести. Женщина не спала. Я знала это, потому что дважды поднималась проверить, и оба раза видела свет под дверью. В первый раз она сидела на кровати с телефоном в руках и перечитывала последнее сообщение сына. Во второй раз просто смотрела в окно, за которым чёрный сад мок под дождём. Она не плакала. Мне казалось, это хуже. Слёзы хотя бы двигаются. А в ней всё будто остановилось на том месте, где Матвей вышел из зоны камеры и исчез.

Роман тоже не спал.

Он стоял в кабинете у окна, когда я вошла. Кабинетом это помещение начали называть недавно, хотя раньше оно было чем-то вроде старой гостиной для серьёзных разговоров, где мебель расставляли так, чтобы собеседник сразу понимал: его либо оценивают, либо собираются наказать. Громов велел вынести тяжёлый стол, открыть книжные шкафы, убрать родовые знаки с центральной стены и поставить несколько кресел не по иерархии, а по удобству. Старшие ворчали. Павел сказал, что пространство стало менее репрессивным. Дина сказала, что Павелу надо меньше использовать слова, после которых хочется вымыть руки. Марта просто принесла туда лампу с тёплым абажуром, и кабинет окончательно перестал выглядеть как место, где человек должен заранее признать вину.

Но сегодня даже лампа не спасала.

На столе лежал листок с белым кругом, уже в прозрачном пакете. Рядом — распечатка сообщения Матвея. «Мам, не бойся. Они говорят, можно жить без зверя». Роман смотрел в окно, но я знала, что видит не сад. Он видел мокрый проход между домами, пустое место без запаха и белые крупинки в трещине между плитами. Зверь внутри него был тих. Слишком тих. Не спал, а ждал.

— Лука что-нибудь сказал? — спросила я, закрывая дверь.

— Порошок не серебро, — ответил Роман, не оборачиваясь. — Не яд в обычном смысле. Не гаситель из старых разработок Бюро. По крайней мере, не тот, что Анна знала.

— А что?

— Лука сказал: «Очень плохая белая дрянь». Потом выгнал всех.

— Научный подход.

— Он обещал через час сказать больше.

Я подошла к столу и посмотрела на белый круг на листке. Просто тонкая линия, пустота внутри. Никаких клыков, луны, крови, старых символов, громких лозунгов. И от этого знак казался ещё неприятнее. Враг без лица всегда выглядит чище, чем должен.

— Вера не спит, — сказала я.

— Знаю.

— Ты чувствуешь?

— Нет, — ответил Роман. — Слышу шаги. Она ходит от кровати к окну.

Я кивнула. Иногда мне казалось несправедливым, что он ощущает столько чужого. Иногда — страшным, что однажды может перестать. После сегодняшнего прохода между домами сама мысль о пустоте стала чем-то вроде холода под кожей.

— Ты винишь себя? — спросила я.

Он наконец повернулся.

— За Матвея? Нет. Я не знал о нём.

— Это никогда тебе не мешало.

Роман посмотрел на меня тяжело, но без злости.

— Сейчас не за что себя винить. Пока.

— Неправильная формулировка.

— Честная.

Я хотела сказать ему что-нибудь резкое. О том, что он не может заранее готовить место для вины, как запасную комнату в доме. О том, что если каждый исчезнувший след станет его личным провалом, от него снова останется только стена. Но в этот момент внизу хлопнула дверь, в коридоре послышались шаги, и дом отозвался знакомым настороженным шорохом: чужой вошёл, но чужой уже почти свой. Через несколько секунд в кабинет постучали.

— Орлов, — сказал снаружи голос. — Я с плохим кофе и, боюсь, с плохой информацией.

— Входи, — ответил Роман.

Орлов вошёл, стряхивая с пальто дождевые капли. За ним появился Павел, без кофе, но с такой папкой, будто он собирался подпереть ею падающее здание. Дина протиснулась следом, хотя по лицу Павла было понятно, что официально её никто не звал.

— Не смотрите так, — сказала она, закрывая дверь. — Я отвечаю за перевод с юридического на человеческий и с орловского на «нам всем конец, но не сразу».

— Я не говорю так, — заметил Орлов.

— Вы говорите лицом, — ответила Дина.

Павел устало поправил очки.

— Я пытался объяснить Дине, что не каждое совещание предполагает её присутствие.

— А я пыталась объяснить Павлу, что после фразы «люди добровольно отказываются от звериного следа» любое совещание предполагает моё присутствие, потому что здравый смысл без присмотра опять пострадает.

— Садитесь, — сказал Роман.

Все сели. Не по рангу. Просто кто куда успел. Орлов положил на стол папку, флешку и один стакан кофе придвинул Громову. Тот посмотрел на стакан с подозрением.

— Это не кофе, — сказал Роман.

— Это бодрствование в жидкой форме, — ответил Орлов. — Вкус не обещали.

— Начинай.

Орлов открыл папку. Внутри были распечатки: скриншоты страниц, обрывки переписок, фотографии наклеек на столбах, кадры с камер, список имён с пометками. На первой странице был всё тот же знак — тонкий белый круг.

— Название «Белый круг» всплывает не впервые, — сказал Орлов. — Просто раньше его никто не связывал с исчезновениями, потому что исчезновений вроде бы не было. Были группы поддержки. Закрытые чаты. Листовки около центров переходной помощи. Несколько

встреч в арендованных залах под видом психологических консультаций для людей с кризисом идентичности. Формально — ничего запрещённого.

— «Кризис идентичности», — повторила Дина. — Какая удобная коробочка. Туда можно положить всё, что болит, и сделать вид, что оно стало аккуратным.

Орлов кивнул.

— Их основная аудитория — не случайные люди. Они работают по тем, кто уже пострадал от старых систем. Бывшие ложные пары. Люди из тихих семей, которым недавно вернули происхождение. Молодые оборотни, которые не хотят входить в родовые структуры. Женщины, боящиеся истинных связей после насильственных браков. Мужчины, которых стаи использовали как бойцов. Подростки, которым звериный след вернулся слишком резко. Они не приходят к тем, у кого всё хорошо. Они приходят туда, где человек уже зол.

— И предлагают свободу, — сказала я.

— Да, — ответил Орлов. — Причём очень грамотно. Никаких «мы уничтожим стаи» в открытую. Никаких призывов к насилию. Они говорят: «Если связь навязана — вы имеете право её снять. Если зверь проснулся без вашего согласия — вы имеете право на тишину. Если стая зовёт вас по крови — вы имеете право не откликаться. Если вас всю жизнь хранили, передавали, вписывали в чужие решения — вы имеете право стать только собой».

Комната молчала.

Потому что в этих фразах не было очевидной лжи.

Именно это было самым неприятным. Если бы Белый круг говорил: «Мы заберём вашего зверя, сотрем вашу жизнь и оставим после вас пустоту», всё стало бы проще. Громов нашёл бы их, Павел оформил бы юридическую часть, Орлов проследил бы за внешними связями, Лука придумал бы, как не умереть от белого порошка, а Дина сказала бы что-нибудь о том, что у злодеев наконец появилась честная маркетинговая стратегия. Но они говорили словами, которые ещё вчера могли бы звучать правильно в нашем собственном доме. Право не быть чужой собственностью. Право выйти. Право отказаться от роли. Право не считать боль судьбой.

— Они используют нашу повестку, — тихо сказал Павел.

— Не только вашу, — ответил Орлов. — Они используют реальные преступления старых стай и Бюро. И делают это умно. В каждом тексте есть правда. Вот, например.

Он вынул из папки распечатку и положил перед нами. Это был пост из закрытого канала. Без имён, только знак белого круга в углу.

«Вам сказали, что истинная связь — дар.

Но спрашивали ли вас, хотите ли вы этого дара?

Вам сказали, что зверь — ваша природа.

Но кто решил, что природа имеет право просыпаться без согласия?

Вам сказали, что стая —дом.

Но дом не требует крови за вход.

Белый круг не забирает. Белый круг возвращает тишину».

Дина выругалась.

Не громко. Коротко и зло.

— Вот же… — Она осеклась, посмотрела на Павла и, кажется, решила не продолжать при нём из уважения к его вере в нормы приличия. — Это ведь сработает.

— Уже работает, — сказал Орлов.

Роман молчал. Он смотрел на листок так, будто пытался прожечь его взглядом до тех людей, которые писали эти строки. В нём поднималась злость, но не простая. Не звериное желание броситься. Скорее, холодная ярость человека, который видит, как его собственная трудная победа превращается в приманку для чужой ловушки.

— Сколько их? — спросил он.

— Не знаю, — ответил Орлов. — Активных я нашёл около тридцати в городе и пригороде. Сторонников больше. В чатах — несколько сотен. Часть живёт не здесь. Часть просто читает. Часть задаёт вопросы. И вот тут начинается самое сложное.

Павел положил свою папку на стол и открыл её.

— Юридически мы не можем запретить человеку участвовать в группе поддержки, — сказал он. — Даже если группа нам не нравится. Мы не можем запретить взрослому оборотню отказаться от вступления в стаю. Не можем запретить бывшей ложной паре искать способ снять остаточные следы. Не можем запретить человеку из тихой семьи сказать: «Я не хочу иметь ничего общего с происхождением, которое от меня скрывали». После всего, что было, если мы попытаемся давить, мы сами станем доказательством правоты Белого круга.

— А белый порошок? — спросила я. — Это уже не группа поддержки.

— Да, — ответил Павел. — Если мы докажем, что они применяют вещество, которое причиняет вред или необратимо изменяет след без полного понимания последствий, это основание для вмешательства. Но пока у нас один исчезнувший человек, который на записи выглядит ушедшим добровольно, листовки, сообщения и непонятное вещество, действие которого ещё не установлено официально.

— Они убрали его след, — сказал Роман.

— Для нас это очевидно, — осторожно произнёс Павел. — Для суда, комиссии и переходной службы — пока нет. Особенно если Матвей Осипов появится и скажет, что ушёл сам.

Вера Осипова всплыла в моей памяти так резко, что стало больно. Её пальцы на чашке. Её голос: «Он называл меня мамуль». А теперь — возможность, что Матвей вернётся, посмотрит на мать спокойными глазами и скажет: всё хорошо, я сам.

— А если он правда ушёл сам? — спросила я.

Все посмотрели на меня.

Не обвиняюще. Просто вопрос оказался тем камнем, который лежал посреди комнаты, и я первая ткнула в него ногой.

— Лиза, — тихо сказала Дина.

— Нет, подождите, — сказала я. — Я понимаю, что звучит ужасно. Но если Матвей действительно хотел жить без зверя? Если он правда боялся того, что с ним происходит? Если он не хочет быть частью стаи, не хочет наставников, не хочет следа, не хочет, чтобы его нашли по запаху? Мы же сами говорили: человек имеет право уйти. Где заканчивается его право отказаться и начинается наше право его спасать?

Роман посмотрел на меня тяжело.

— Когда после отказа от человека остаётся пустое место.

— Это наш ответ, — сказала я. — А его?

— Если ему сделали это веществом, он мог не понимать.

— Да. А если ему объяснили? Пусть плохо, пусть манипулятивно, но объяснили. Если он подписал согласие?

— Согласие на то, чего не понимаешь, не согласие, — сказал Павел.

— Это я понимаю. Но кто решает, что человек понял достаточно? Мы? Бюро? Стая? Мать, которая хочет вернуть сына? Роман, который чувствует исчезнувший след как насилие? Я, потому что мне страшно смотреть на пустоту? Где граница?

Никто не ответил сразу.

И в этой паузе я вдруг почувствовала, насколько Белый круг опасен. Не потому, что у них был порошок. Не потому, что они умели исчезать с камер. А потому, что они ставили вопрос в точку, где любой честный ответ ранил кого-то живого. Запретить человеку отказаться от стаи — снова клетка. Позволить кому-то вырезать из него зверя под красивыми словами — тоже клетка, только белая, чистая, без решёток. А между этими двумя ужасами было слишком мало твёрдой земли.

Орлов достал ещё одну распечатку.

— Вот поэтому я сказал, что всё сложно. Смотрите.

На листе был список имён. Некоторые я уже слышала в Бюро, некоторые нет. Напротив каждого — короткая пометка: «ложная пара, разрыв год назад», «тихая семья, возвращён след», «молодая линия Роан, отказ от родового круга», «бывший боец южной стаи», «женщина после принудительного закрепления». И ещё несколько пометок: «публично поддерживает БК», «посещал встречу», «исчезал на 2 дня, вернулся спокойным», «снял запах с жилого помещения», «конфликт с наставником».

— Это не преступная сеть в классическом смысле, — сказал Орлов. — Это движение. Идея. Они растут на обиде, страхе и недоверии. Если мы начнём охоту, к ним уйдёт вдвое больше людей.

— Если ничего не сделаем, они заберут следующих, — сказал Громов.

— Да, — ответил Орлов.

— Прекрасный выбор, — сказала Дина. — Ударить — плохо, не ударить — плохо. Обожаю моральные ловушки. Особенно когда они приходят с логотипом.

Павел устало провёл рукой по лицу.

— Нам нужно не запрещать уход, а доказать вред процедуры. И отделить право человека отказаться от стаи от деятельности Белого круга. Иначе мы сами смешаем всё в одну кучу.

— Говоря человечески? — спросила Дина.

— Говоря человечески, — Павел посмотрел на неё с неожиданной твёрдостью, — человек имеет право уйти из дома. Но никто не имеет права отрезать ему ноги, чтобы он больше не возвращался.

Дина замолчала.

— Вот так и пиши, — сказала она после паузы.

— Не могу.

— Можешь. Просто боишься.

— Я юрист.

— Именно.

Роман поднялся и подошёл к окну. За стеклом сад темнел, мокрый, беспокойный. Дом вокруг нас слушал. Я всё чаще ловила это ощущение: не мистическое в красивом смысле, не сказочное, а почти телесное. Стены, привыкшие хранить старые приказы, теперь учились различать разговоры, в которых решалась новая форма жизни. Дом не вмешивался. Но он помнил. Не архивно, не мертво. Как семья помнит интонацию беды ещё до слов.

— Кто стоит во главе? — спросил Громов.

Орлов покачал головой.

— Не знаю. У них нет явного лидера. Есть несколько публичных голосов под псевдонимами. «Белая сестра», «Никто», «Тот, кто вышел», «М.». Последний встречается чаще других. Возможно, координатор. Возможно, приманка. На встречах работают разные люди. Они избегают иерархии, по крайней мере внешне.

— Всегда есть тот, кто смешивает порошок, — сказал Лука от двери.

Мы все обернулись.

Он стоял на пороге, бледный, злой и непривычно тихий. В руках у него был герметичный контейнер, уже вложенный в ещё один прозрачный пакет. Дина сразу поднялась.

— Ты должен был быть в подвале, — сказала она.

— Я там был, — ответил Лука. — Теперь пришёл сюда, потому что если буду ещё пять минут смотреть на эту дрянь один, начну разговаривать с инструментами.

— Ты и так разговариваешь с инструментами.

— Сейчас они отвечают разумнее людей.

Роман сделал шаг к нему.

— Что выяснил?

Лука положил контейнер на стол, но не выпустил из пальцев сразу, словно даже через несколько слоёв защиты ему не хотелось оставлять порошок без присмотра.

— Он не просто стирает запах, — сказал Лука. — Точнее, запах — последнее, что мы видим. Эта штука цепляется к звериному следу как растворитель к краске. Но не смывает с поверхности. Расслоение идёт глубже. Если след свежий и нестабильный, как у недавно вернувших зверя, эффект сильнее. У таких, как Матвей, это могло сработать быстро.

— Больно? — спросила я.

Лука посмотрел на меня.

— Не знаю. Может быть, сначала наоборот. Легче. Если зверь проснулся недавно и человек его боится, порошок мог дать тишину. Снять давление. Заглушить внутренний отклик. Человек почувствует облегчение.

— А потом? — спросил Павел.

— Потом зверь не исчезает, — сказал Лука. — По крайней мере, не должен. Его нельзя просто стереть порошком с улицы. Но связь между человеческой частью и звериной становится… рваной. Как если перерезать провода, но оставить ток в стене.

— Последствия? — спросил Орлов.

— Не знаю. Плохие. Возможно, провалы памяти тела, потеря ориентации для стаи, невозможность найти дорогу по следу, расстройство превращения, откаты. Если применить много… — Лука замолчал.

— Говори, — сказал Громов.

— Если применить много, можно сделать оборотня пустым для других. Может быть, даже для себя.

В кабинете стало совсем тихо.

Пустым для себя.

Эта фраза ударила сильнее, чем я ожидала. Потому что я вдруг представила не смерть, не кровь, не клетку, не цепь. Представила человека, который просыпается утром и больше не чувствует в себе ничего пугающего. Никакого зверя. Никаких связей. Никаких внутренних рывков. Никакой боли от того, что мать плачет за дверью. Просто тишина. Белая, ровная, чистая. И он, может быть, даже улыбается. Потому что не понимает, что вместе с болью из него вынули путь домой.

— Это нужно оформить, — сказал Павел, уже открывая папку. — Лука, мне понадобится заключение. Предварительное, без окончательных формулировок, но достаточно ясное, чтобы Инесса могла запустить ограничительные меры.

— Напишу, — сказал Лука. — Только не трогайте контейнер голыми руками.

— Я похож на человека, который хочет трогать неизвестное вещество голыми руками?

Дина посмотрела на него.

— Хочешь честно или нежно?

Павел вздохнул.

— Не сейчас.

Орлов включил планшет и вывел на экран карту города. На ней были отмечены точки: мастерская Матвея, место исчезновения, два центра переходной помощи, три арендованных

зала, несколько домов в спальных районах, один заброшенный клуб у промзоны и старый санаторный корпус за городом, теперь числящийся частным реабилитационным центром.

— По встречам Белого круга есть закономерность, — сказал Орлов. — Они не сидят в одном месте. Собирают людей там, где безопасно психологически, не физически. Светлые залы, чай, консультанты, мягкие кресла. Никаких подвалов. Никаких клеток. Никакой атрибутики старых стай. Они специально делают всё наоборот.

— Чтобы человек расслабился, — сказала я.

— Чтобы человек сам вошёл, — уточнил Орлов. — И потом мог сказать: меня не тащили.

Роман смотрел на карту.

— Следующая встреча?

— Возможно, завтра вечером, — сказал Орлов. — Но место пока не знаю. В чатах пишут только тем, кто прошёл личный разговор.

— Значит, нужен тот, кто пройдёт, — сказала Дина.

Павел резко повернулся к ней.

— Нет.

— Я ещё не предложила себя.

— Ты именно это собиралась сделать.

— Павел, у меня на лице написано «травмированная девушка, ненавидящая любые навязанные связи». Я их целевая аудитория.

— Именно поэтому нет.

— А, то есть мой травматический опыт опять недостаточно сертифицирован для полевой работы?

— Дина, — Павел впервые за вечер повысил голос, но не сорвался. — Они используют боль людей как входной билет. Ты не обязана платить собой за то, чтобы мы получили адрес.

Дина открыла рот, но не ответила сразу. Это было редкое зрелище.

— Красиво сказал, — пробормотала она наконец. — Бесит.

— Я стараюсь.

— Всё равно вопрос остаётся, — сказал Орлов. — Нужен контакт. Но не сегодня. Сегодня у нас мать пропавшего человека в доме, неизвестное вещество и движение, которое может в любой момент получить ещё десяток добровольцев.

— Добровольцев, — повторила я.

Слово не отпускало.

Я вышла из-за стола и подошла к окну. Рядом с тем местом, где недавно стоял Роман. Сад тонул в темноте, и отражение кабинета лежало на стекле поверх чёрных ветвей: стол, люди, белый круг в пакете, карта города, лицо Громова, который не хотел снова становиться тем, кто решает за всех. Я смотрела на это отражение и думала о Матвее Осипове. Двадцать четыре года. Мастерская музыкальных инструментов. Хорошие руки. Мать, которая знала, что он написал не своим голосом, потому что вместо «мамуль» было «мам». Молодой человек, у которого под кожей проснулся зверь без спроса, потому что кто-то когда-то украл у него правду, а потом правда вернулась не подарком, а ночным воем.

Можно ли запретить ему отказаться?

Я хотела простого ответа. После Мертина мне казалось, что я его заслужила. Что после всех подвалов, браслетов, украденной памяти и комнат выбора мир хотя бы на время будет честным: вот насилие, вот свобода; вот клетка, вот дверь; вот тот, кто держит, вот тот, кто выбирает. Но Белый круг пришёл не с цепями. Он пришёл со словом «свобода» и сделал его острым.

— Если человек правда хочет уйти из стаи, мы не имеем права его держать, — сказала я тихо.

За спиной никто не перебивал.

— Даже если нам страшно. Даже если мы думаем, что он ошибается. Даже если его мать плачет на втором этаже. Даже если Роман чувствует, что след исчез неправильно. Даже если я ненавижу саму мысль, что кто-то может взять боль и назвать её согласием.

Я повернулась к ним.

— Но если Белый круг предлагает не уход, а невозможность вернуться, это уже не свобода. Нам нужно доказать именно это. Не «они забирают людей из стай». А «они делают так, что человек больше не может выбрать иначе».

Павел смотрел на меня внимательно.

— Это хорошая формулировка, — сказал он.

— Не юридическая.

— Тем лучше для начала.

Громов подошёл ближе. Не встал передо мной, не закрыл, не взял за руку при всех, чтобы обозначить. Просто оказался рядом.

— Значит, не запрещаем уход, — сказал он. — Запрещаем отрезать дорогу назад.

— Пытаемся, — поправил Орлов.

— Нет, — сказал Роман. — Делаем.

В его голосе было то старое железо, от которого комната обычно выпрямлялась. Но теперь оно не давило. Он не сказал: я решаю. Он сказал: мы нашли основание. И это оказалось совсем другим звуком.

В этот момент наверху хлопнула дверь.

Все замерли.

Потом послышались быстрые шаги по лестнице. Вера Осипова спустилась в коридор в мартином платке, босая, с телефоном в руке. Лицо у неё было белое, но глаза горели так страшно, что я сразу поняла: случилось что-то новое.

— Он написал, — сказала она.

Роман шагнул к двери кабинета первым, но остановился, чтобы не пугать её. Я вышла следом.

— Матвей? — спросила я.

Вера кивнула и протянула телефон. Рука у неё дрожала.

На экране было новое сообщение.

«Мама, я жив. Не ищи меня. Я сам выбрал тишину. Мне больше не больно. Они сказали, что скоро я смогу прийти и показать тебе, что зверь был ошибкой».

Под сообщением была фотография.

Размытая, сделанная где-то в светлом помещении. Матвей Осипов сидел в кресле у белой стены. Живой. С открытыми глазами. Без видимых ран. Почти спокойный.

И всё же я поняла, почему Вера Осипова не закричала от облегчения.

На коленях у Матвея лежала скрипка. Он держал её неправильно.

Не как мастер, который с детства чинил музыкальные инструменты. Не как человек с хорошими руками. А как чужую вещь, которую ему дали для фотографии, потому что кто-то знал: мать поверит скрипке.

— Это не он, — прошептала Вера.

Громов смотрел на фотографию, и зверь внутри него поднимался медленно, страшно, без единого звука.

— Жив, — сказал Павел за моей спиной. — Это важно. Он жив.

— Да, — ответила я, не отрывая взгляда от чужих пальцев на скрипке. — Только они уже начали забирать у него не зверя.

Орлов приблизил фотографию на экране. В правом нижнем углу, почти за краем кадра, отражаясь в лакированном боку скрипки, виднелась часть стены. На ней был нарисован тонкий белый круг.

А внутри круга — маленькая фраза, почти нечитаемая, но достаточная, чтобы у меня похолодели руки.

«Никто не должен принадлежать даже себе прежнему».

Глава 5. Человек без запаха

Матвей Осипов вернулся на следующий день в половине шестого утра.

В это время дом стаи находился в том странном состоянии между ночью и утром, когда бодрствующие уже ненавидят тех, кто спит, а спящие ещё не подозревают, что их скоро начнут ненавидеть заслуженно. На кухне горел слабый свет. Марта, которая, по моим наблюдениям, вообще не имела человеческого режима сна, сидела за столом, чистила яблоки для пирога и делала вид, что это не способ не думать о женщине на втором этаже. Лука так и не вышел из подвала до рассвета, только прислал сообщение: «Порошок гадость. Не трогать. Не нюхать. Не приближать к следам». Павел уехал в Бюро около трёх, чтобы оформить срочные ограничения на неизвестное вещество, и выглядел при этом как человек, который может умереть от юридической ответственности, но сначала составит акт. Дина заснула прямо в кресле в гостиной, завернувшись в плед и продолжая держать телефон в руке, будто собиралась ругаться с миром даже во сне.

Роман не спал.

Он стоял внизу, у окна кабинета, когда я проснулась от того, что связь между нами изменилась. Не дёрнулась, не вспыхнула тревогой, не ударила болью, а стала слишком внимательной. Так бывает, когда человек рядом ещё ничего не говорит, но всё его существо уже слушает темноту. Я открыла глаза в гостевой комнате, где осталась на ночь после позднего совещания, несколько секунд смотрела в потолок и пыталась понять, что именно разбудило меня. Потом почувствовала дом. Тот не гудел, не скрипел, не выставлял защиту. Он просто замер.

Я быстро оделась, вышла в коридор и почти сразу увидела Романа у лестницы. Он поднял голову раньше, чем я успела сделать второй шаг. В полумраке его лицо казалось жёстким, вырезанным из ночи: тёмные волосы, борода, тяжёлый взгляд, рубашка с закатанными рукавами, на запястье едва заметный след нашей связи. Он не сказал «останься». Уже давно не говорил. Но я увидела, что хочет.

— Кто? — спросила я тихо.

— У ворот человек, — ответил Роман. — Без следа.

От этих слов я окончательно проснулась.

— Матвей?

— Возможно.

За дверью комнаты Веры Осиповой всё ещё горел свет. Я посмотрела туда, потом снова на Романа.

— Она знает?

— Нет.

— Тогда сначала мы.

Он коротко кивнул.

Мы спустились вместе. На кухне Марта уже стояла, держа в руке нож для яблок, и этот нож в её руке выглядел вполне достаточным аргументом для любой мелкой нечисти, чиновника или члена подпольного движения. Барсик сидел у двери в коридор, выгнув спину и распушив хвост. Не шипел. Это было хуже. Барсик никогда не молчал из вежливости. Если он молчал, значит, пытался понять, что именно перед ним находится и стоит ли это презирать как обычно или уже бояться.

— Кто пришёл? — спросила Марта.

— Не знаю, — сказал Громов.

Марта посмотрела на него пристальнее.

— Ты не знаешь?

— Не чувствую.

Она медленно положила нож на стол.

— Плохо.

— Да, — ответил Роман.

Мы вышли к главному входу, но Роман не открыл дверь сразу. Сначала коснулся ладонью стены. Дом отозвался еле слышным скрипом, не похожим на тревогу. Скорее на растерянность. Защитная линия у ворот не работала как обычно: она не звала, не отталкивала, не распознавала. Просто держала перед собой пустое место, в котором, судя по камере, стоял живой человек.

На экране внутреннего наблюдения был Матвей Осипов.

Я узнала его по фотографии, которую показывала Вера: высокий парень в тёмной куртке, с чуть сутулыми плечами, светлыми волосами, мокрыми от утреннего тумана, и тонким умным лицом человека, привыкшего слушать не людей даже, а вещи. На записи из пекарни он был напряжённым, живым, неуверенным. На фотографии Белого круга — спокойным, но чужим. Сейчас он стоял у ворот дома стаи и смотрел прямо в камеру. Не метался, не стучал, не озирался. Просто стоял, вежливо ожидая, когда его впустят.

— Живой, — сказала я.

— Да, — ответил Роман.

— Ранен?

— Не вижу.

— А зверь?

Он молчал.

Этого хватило.

Мы вышли во двор втроём: Роман впереди, я рядом и чуть сбоку, Марта за нами, хотя формально её никто не звал. В утреннем воздухе висела сырость. После ночного дождя каменные дорожки блестели, кусты у ограды стояли мокрые, тяжёлые, а небо было того серого цвета, при котором город кажется недописанным. Ворота оставались закрытыми, но не потому, что дом решил не пускать гостя. Скорее, дом не понимал, кого именно перед ним держит.

Матвей Осипов поднял взгляд, когда мы подошли.

— Доброе утро, — сказал он.

Голос был ровный. Не сонный, не испуганный, не сорванный после исчезновения. Просто вежливый, спокойный, чуть усталый.

— Матвей Осипов? — спросил Роман.

— Да, — ответил парень. — Я хотел бы поговорить с матерью.

На слове «матерью» у меня внутри что-то неприятно дрогнуло. Не «мамой». Не «мамулей». Не даже «мам». Матерью. Слово было правильным, уважительным и совершенно чужим для человека, ради которого женщина всю ночь сидела у окна, сжимая телефон.

— Где вы были? — спросил Роман.

— В безопасном месте, — ответил Матвей.

— С кем?

— С людьми, которые помогли мне.

— Как помогли?

Матвей слегка улыбнулся. Не радостно. Не тепло. Так улыбаются люди, которым объяснили, что они теперь должны излучать спокойствие.

— Освободиться, — сказал он. — От боли, страха и животного наследства.

Марта за моей спиной тихо выдохнула. Я не обернулась, но представила её лицо. Если бы эту фразу произнес кто-то другой, Марта, вероятно, ответила бы сразу и так, что животное наследство само попросило бы прощения. Но перед нами стоял не проповедник Белого круга. Перед нами стоял сын Веры Осиповой, живой, мокрый от тумана, пустой для дома и слишком спокойный для человека, который исчез на сутки.

Громов открыл ворота.

Делал он это медленно. Не потому что боялся Матвея. Потому что каждый жест сейчас имел значение. Если не открыть — Белый круг будет прав: стая держит, не пускает, решает, кто свой, а кто чужой. Если открыть — неизвестное войдёт в дом. Роман выбрал открыть. Я почувствовала через связь, чего ему стоил этот выбор: зверь внутри него не доверял пустоте, хотел встать между, проверить, зарычать, запретить. Мужчина рядом со мной только отступил на шаг, освобождая проход.

Матвей вошёл.

И дом не узнал его.

Это было видно не глазами, а кожей. Когда в дом входил человек, у него всегда появлялся отклик. Даже у незнакомцев. Даже у тех, кто боялся, ненавидел оборотней или пришёл с плохими новостями. Дом прислушивался, ощупывал воздух, искал в человеке нитку живого намерения. Вера Осипова вчера вошла чужой и напуганной, но дом сразу понял: мать. Лука любил говорить, что у домов нет эмоций, только контурная память и привычки пространства, но сам же потом ругался на стены, когда они «психовали». Сейчас стены молчали. Не принимали и не отвергали. Просто не находили, за что зацепиться.

Матвей остановился на дорожке перед крыльцом.

— Здесь красиво, — сказал он.

— Вы были здесь раньше? — спросила я.

Он посмотрел на меня.

Вблизи он казался ещё более странным. Не мёртвым, не больным, не одурманенным в привычном смысле. Глаза ясные, зрачки нормальные, дыхание ровное, движения аккуратные. Но в нём не было того мелкого внутреннего шума, который есть у живого человека рядом с тревогой: ни смятения, ни нетерпения, ни попытки оправдаться, ни страха перед встречей с матерью. Даже люди, которые отлично владеют собой, пахнут напряжением. Матвей не пах.

Совсем.

Я не чувствовала запахи так, как Громов, но после закрепления связи иногда улавливала через него оттенки мира. Дом — тёплое дерево, старая шерсть, хлеб, дождь, звериный покой. Марта — травы, железо ножа, горячее тесто и строгая забота. Дина — кофе, усталость, острый страх, спрятанный под язвительностью. Роман — гроза, тёмный мех, кожа, дым, опасность и тепло. Матвей был провалом. Не пустым воздухом даже. Скорее местом, где ощущение пыталось появиться и не находило разрешения.

— Нет, — ответил он после небольшой паузы. — Не был.

— Тогда откуда знаете, что красиво? — спросила я.

Он посмотрел на фасад дома, на мокрые окна, на крыльцо, на старые стены.

— Мне сказали, что это место называют домом, — произнёс Матвей. — Теперь я понимаю почему.

Марта тихо сказала:

— Лиза.

Я повернула голову. В дверях показалась Вера Осипова.

Она стояла на пороге в чужой шерстяной кофте, с распущенными волосами, босая, бледная. Вероятно, услышала голоса или почувствовала движение дома. Может быть, просто мать всегда просыпается в ту секунду, когда возвращается ребёнок, даже если после возвращения от него больше не остаётся родного запаха.

— Матвей, — сказала она.

Парень поднял голову.

— Здравствуй, мама, — произнёс он.

Не «мамочка». Не «мамуль». Не даже испуганное «мама», которое могло бы сорваться после суток неизвестности. Ровно. Правильно. Как в учебнике по вежливому возвращению домой.

Вера сделала шаг с крыльца, потом ещё один. На третьем шаге почти побежала. Я увидела, как Роман напрягся, но не остановил её. Вера бросилась к сыну и обняла его так сильно, что сама качнулась от удара. Матвей принял объятие. Не отстранился, не скривился, не испугался. Просто положил руки ей на плечи. Аккуратно. Правильно. Без живого рывка навстречу.

— Господи, Матвей, Матвей, Матвей, — шептала Вера, прижимаясь лицом к его груди. — Где ты был? Что они с тобой сделали? Почему ты не позвонил? Сынок, почему ты…

— Всё хорошо, мама, — сказал Матвей. — Мне больше не больно.

Вера замерла.

Эта фраза должна была успокоить. Любая мать хочет услышать от пропавшего ребёнка: мне больше не больно. Но иногда слова, поставленные слишком ровно, пугают сильнее крика. Вера медленно отстранилась и посмотрела ему в лицо. Провела ладонями по его щекам, по волосам, по плечам, как будто проверяла, не подменили ли его физически. Потом вдруг наклонилась, прижалась к его куртке носом, вдохнула.

И побелела.

— Нет, — сказала она.

Матвей смотрел на неё спокойно.

— Мама.

— Нет, — повторила Вера уже громче. — Нет. Нет, ты… ты не пахнешь.

Слово прозвучало дико, почти смешно, если бы не её лицо.

— Мама, это часть изменений, — мягко сказал Матвей. — Тебе не нужно бояться.

— Не нужно бояться? — Вера отступила на шаг, но тут же снова схватила его за руки. — Я двадцать четыре года знала, когда ты заболеваешь, ещё до температуры. Я знала, что ты ел в мастерской, даже когда ты врал, что не покупал эту ужасную лапшу. Я знала, что ты пришёл домой, потому что в коридоре становилось тобой. А теперь… — Она судорожно вдохнула и посмотрела на меня. — Лиза, я не чувствую его. Даже я не чувствую. Я человек, я не должна так говорить, но я не чувствую его.

Матвей осторожно освободил одну руку и погладил её по плечу.

— Тебе непривычно, — сказал он. — Это пройдёт.

— Что пройдёт? — спросила Вера.

— Зависимость от старых признаков близости.

Марта шагнула вперёд.

— Мальчик, кто тебе дал эти слова? — спросила она.

Матвей посмотрел на неё без раздражения.

— Люди, которые помогли мне понять, что любовь не должна зависеть от запаха, крови или животного узнавания.

— А от чего должна? — спросила Марта.

— От свободы.

— Красиво, — сказала она. — Пусто, но красиво.

Роман всё это время стоял рядом, не вмешиваясь. Я чувствовала, как ему трудно. Пустой человек перед ним был не врагом в привычном смысле. Он не угрожал ножом, не пытался прорваться через защиту, не держал заложника. Он просто стоял во дворе и своим отсутствием разрушал то, на чём для оборотней держалась базовая уверенность мира: живой оставляет след. Свой узнаёт своего. Мать узнаёт сына. Дом понимает, кто вошёл.

— Матвей, — сказал Громов наконец. — Вы можете пройти внутрь. Осмотрит врач, потом поговорим.

— Мне не нужен врач, — ответил Матвей. — Я здоров.

— Это решит врач.

— Нет, — сказал он спокойно. — Это решу я.

Роман замолчал.

И вот здесь глава, утро, дом, все наши разговоры о добровольности ударили в самое больное место. Матвей сказал ровно то, что имел право сказать. Взрослый человек. Живой. Вернувшийся сам. Без видимых ран. И если мы сейчас тащим его к врачу силой, Белый круг уже победил, даже если не присутствует. Потому что тогда мы докажем: стоило человеку отказаться от зверя, как стая решила, что он больше не распоряжается собой.

Я увидела, как Роман сжал пальцы.

Не в кулак. Почти.

— Вы правы, — сказал он после паузы.

Матвей чуть наклонил голову.

— Рад, что вы понимаете.

— Врач не будет вас трогать без согласия, — продолжил Громов. — Но вы стоите у моего дома после исчезновения, связанного с неизвестным веществом. Здесь люди под защитой. Я должен убедиться, что вы не несёте угрозы им.

— Я никому не угрожаю.

— Тогда подтвердите это разговором. Добровольно.

Матвей смотрел на него несколько секунд. Потом кивнул.

— Добровольно — да.

Марта тихо выдохнула.

Вера Осипова всё ещё держала сына за рукав, будто боялась, что если отпустит, он рассыплется на эту белую тишину. Он не отнимал руку. И от этого становилось ещё страшнее: он был вежлив. В нём не было ни злобы, ни грубости, ни явного отчуждения. Только гладкая спокойная поверхность там, где должна была болеть связь.

В гостиной к нашему возвращению уже собрались те, кто проснулся от движения дома. Дина стояла у кресла, закутавшись в плед, с лицом человека, которого разбудили слишком рано и сразу показали конец света. Павел приехать ещё не успел, но был включён по видеосвязи на планшете, который Марта поставила на стол с таким видом, будто планшет тоже должен пить чай. Лука поднялся из подвала, держа в руках маленький прибор собственного изготовления, состоявший из стекла, меди, каких-то нитей и выражения крайнего недоверия к реальности. Орлов уже был в пути, судя по короткому сообщению: «Еду. Не отпускайте. Но не задерживайте силой. Да, я понимаю, как это звучит».

Матвей сел в кресло у окна.

Вера села рядом, но он не взял её за руку сам. Она держала его рукав, словно это было единственное место, где сын ещё позволял ей быть матерью. Я села напротив. Роман остался стоять у камина. Не нависая над Матвеем, но так, чтобы между ним и остальным домом всё равно была тяжёлая, живая линия альфы. Если Матвей был пустотой, Роман был её противоположностью: слишком плотный, слишком настоящий, слишком ощутимый.

— Матвей, — начала я, потому что Громов посмотрел на меня и без слов предложил вести разговор. — Вы помните вчерашний вечер?

— Да, — ответил он.

— Вы встретили людей из Белого круга?

— Да.

— Они предложили вам уйти с ними?

— Они предложили поговорить.

— И вы пошли добровольно?

— Да.

Вера тихо всхлипнула.

Матвей повернул к ней голову.

— Мама, я понимаю, что тебе страшно. Но это мой выбор.

— Ты написал не своим голосом, — сказала она дрожащим голосом.

— Я написал спокойно.

— Ты никогда не называешь меня «мама», когда хочешь успокоить.

— Это старая привычка, — сказал Матвей. — Не доказательство любви.

Вера вздрогнула.

Я почувствовала, как во мне поднимается злость. Не на Матвея. На тех, кто дал ему эти слова и сделал из человеческой нежности зависимость, из родного обращения — старую привычку, из боли матери — сопротивление освобождению. Белый круг работал тоньше, чем я хотела признавать. Они не просто глушили зверя. Они переписывали язык близости.

— Что произошло после разговора? — спросила я.

— Мне объяснили, что звериный след может быть навязанным последствием старого преступления, — сказал Матвей. — Я не обязан считать его частью себя только потому, что кто-то передал меня в тихую семью и скрыл происхождение. Мне предложили временное освобождение от давления.

— Временное? — быстро спросил Лука.

Матвей посмотрел на него.

— Да.

— Чем?

— Я не знаю состава.

— Порошок? Раствор? Инъекция? Пар? Кожа? Дыхание?

— Лука, — сказала я.

— Нет, пусть ответит, — резко сказал он. — Это важно.

Матвей не выглядел испуганным.

— Белая полоска под язык, — сказал он. — Потом дыхательная маска. Потом тишина.

Лука выругался и отвернулся.

— Что? — спросила Дина.

— Под язык — быстрое всасывание. Маска — в дыхание и кровь. Они не просто дали ему понюхать следогаситель. Они провели процедуру.

— Мне помогли, — сказал Матвей. — Я дал согласие.

Павел с планшета вмешался, голос у него был глухой от плохой связи и ещё худших эмоций:

— Вам объяснили возможные последствия? Потерю следовой идентификации? Разрыв звериного отклика? Нарушение связи с родными? Риск невозможности восстановления?

Матвей посмотрел на экран.

— Мне объяснили, что старые структуры будут называть свободное состояние потерей, потому что им выгодно, чтобы человек боялся жить без наследства.

— То есть нет, — сказала Дина. — Ничего тебе не объяснили. Тебе дали брошюру с красивой дырой посередине.

Матвей повернулся к ней.

— Вы злитесь, потому что всё ещё связаны с болью, которую считаете собой.

Дина побледнела.

Павел на экране резко сказал:

— Не разговаривайте с ней таким тоном.

Матвей чуть наклонил голову.

— Я не хотел оскорбить.

— Хотел, — сказала Дина тихо. — Просто теперь у тебя это называется иначе.

В комнате снова стало тяжело.

Я посмотрела на Матвея и попыталась увидеть в нём того парня, которого описывала мать. Мастера, который чинил скрипки. Сына, который шутил, что слишком красив для семьи. Человека, который боялся зверя, но всё ещё оставался человеком. Он был здесь. Физически. Его лицо, руки, голос, родинка у виска, мокрые волосы, складка у губ. Но чем дольше он говорил, тем сильнее казалось, что из него вынули не только страх. Вынули неровность. Все те мелкие неправильности, по которым близкие узнают нас точнее, чем по документам.

— Почему вы пришли сюда? — спросил Роман.

Матвей посмотрел на него спокойно.

— Мама была здесь. Я хотел показать, что жив.

— Вы могли позвонить.

— Звонок не убедил бы.

— А вы убедили?

Матвей перевёл взгляд на Веру.

— Пока нет. Но это нормально. Ей нужно время.

Вера закрыла лицо рукой.

— Матвей, сынок…

— Мама, — мягко сказал он. — Пожалуйста, не возвращай меня в старую роль. Я благодарен тебе и отцу. Вы дали мне дом. Но теперь я не обязан быть тем, кого вы воспитали, если тот человек был создан на лжи.

Я почти физически почувствовала, как эти слова ударили Веру.

Она не закричала. Не стала спорить. Только опустила руку, и лицо у неё стало таким пустым, что на мгновение Матвей рядом с ней показался даже более живым.

— Я не создавала тебя на лжи, — сказала она очень тихо. — Я кормила тебя, когда ты не спал ночами. Я сидела с тобой в больнице, когда у тебя была пневмония. Я покупала тебе первую скрипку, хотя ты потом разобрал её на части, чтобы понять, как она звучит. Я врала тебе только в одном: я думала, что знаю всё важное. Но я любила тебя не потому, что ты был человеком, оборотнем или ещё кем-то. Я любила тебя потому, что ты Матвей.

Он смотрел на неё спокойно. Сочувственно даже. И это сочувствие было невыносимым.

— Я понимаю, что ты так это чувствуешь, — сказал он.

Вера отпрянула.

Лучше бы он ударил.

Марта шагнула к столу и поставила перед Верой чашку. Сделала это громче, чем нужно. Глиняная чашка стукнула о дерево, и этот звук вернул в комнату хоть что-то твёрдое.

— Хватит пока, — сказала Марта. — Мать не допросный стол.

— Я готов отвечать, — сказал Матвей.

— А я не спрашиваю, готов ли ты, — ответила Марта. — Я говорю, что хватит.

Матвей замолчал.

Роман посмотрел на Луку.

— Можешь проверить его без прикосновения?

— Уже проверяю, — ответил Лука.

Прибор в его руках тихо щёлкал, почти неслышно. Медная нить внутри стеклянной рамки дрожала всякий раз, когда Лука поворачивал её к Матвею, но не тянулась, как должна была тянуться к звериному следу. Она будто натыкалась на гладкую стену.

— Ну? — спросила Дина.

— Человеческий фон есть, — сказал Лука. — Сердце, дыхание, тепло, обычные следы тела. Звериный… — Он поморщился. — Где-то глубоко. Очень глубоко. Как через бетон и воду. Он не исчез полностью. Но наружу не выходит.

— Это временно? — спросила я.

— Не знаю.

— Лука.

— Не знаю, Лиза, — резко повторил он и тут же сжал губы, пожалев о тоне. — Прости. Я правда не знаю. Если вещество распадётся, след может вернуться. Если они связали порошок с чем-то ещё — может не вернуться сам. Если процедура повторится несколько раз, я вообще не уверен, что будет что возвращать.

Матвей слушал это без страха.

— Вы говорите так, будто зверь — орган, который необходимо сохранить, — сказал он.

— А для тебя что? — спросил Лука.

— Наследственная агрессия. Биологическое принуждение. Чужой голос тела.

Громов тихо сказал:

— Это их слова.

— Теперь мои.

— Нет, — сказала Вера.

Все посмотрели на неё.

Она поднялась. Медленно, держась за край стола, будто пол под ногами стал ненадёжным.

— Нет, — повторила она. — Это не твои слова. Ты можешь злиться на нас. Можешь не хотеть быть оборотнем. Можешь уйти куда угодно, и я всё равно буду ждать. Но ты не говорил так. Ты любил чинить сломанное, потому что говорил: если вещь звучала хоть раз, её нельзя выбрасывать, пока не попробуешь услышать снова. Ты не называл бы часть себя мусором после одного дня с чужими людьми.

Матвей посмотрел на неё долгим взглядом.

И впервые его спокойствие чуть треснуло.

Совсем немного. На секунду. В глазах мелькнуло что-то болезненное, быстрое, почти детское. Словно где-то очень глубоко действительно скребнулся тот, кто помнил разобранную скрипку, ночи с пневмонией, первую мастерскую, мамин голос. Потом белая тишина снова закрыла это.

— Ты страдаешь, — сказал он. — Белый круг может помочь и тебе.

Вера села обратно.

Не потому что согласилась. Потому что ноги её не удержали.

Я встала.

— Матвей, кто передал нам сообщение через вас?

Он перевёл взгляд на меня.

— Никто не передавал сообщение.

— Неправда.

— Я пришёл сам.

— Возможно. Но вы говорите не только от себя.

— Все люди говорят словами, которые когда-то услышали, — сказал он. — Вы тоже.

— Да. Разница в том, что я помню, от кого они.

Матвей смотрел на меня без враждебности. И от этого мне было холоднее. Я вдруг поняла, что в нём нет обычного сопротивления. Он не защищает Белый круг как фанатик. Не спорит, чтобы победить. Он просто несёт внутрь дома пустой центр этой идеи. Как человек, которому сделали больно, а потом убедили, что отсутствие боли и есть исцеление.

— Вы боитесь свободы, — сказал он.

— Я боюсь людей, которые продают ампутацию под видом свободы.

— Стая всегда так говорит.

— Я не стая.

— Вы жена альфы, — сказал Матвей.

Комната застыла.

Роман сделал один шаг. Не угрожающий даже. Просто мир вокруг него стал тяжелее. Я почувствовала через связь, как зверь поднялся в полный рост, но остановился у самой границы. Не за меня — рядом со мной. Разница была тонкая, но важная. Я не обернулась. Не хотела, чтобы Матвей увидел, будто мне нужно подтверждение.

— Это тоже их слова? — спросила я.

— Это факт.

— Фактов у меня много. Можно выбрать любой и сделать из него клетку. Свидетельница крови. Бывшая ошибка протокола. Жена альфы. Специалист по живому согласию. Дочь убитого. Женщина, которая осталась. Какой из них удобнее Белому кругу?

Матвей молчал.

— Кто просил вас сказать это мне? — спросила я.

Он посмотрел на свои руки. Руки, которые мать называла хорошими. Длинные пальцы, аккуратные ногти, маленький шрам на большом пальце — наверное, от инструмента. Руки лежали на коленях спокойно. Слишком спокойно.

— Мне сказали, что вы поймёте, — произнёс он наконец.

— Что именно?

— Свободу без привязанности.

Я усмехнулась. Не весело.

— Значит, они плохо изучили материал.

— Вы были связаны по ошибке.

— Да.

— Вас втянули в чужой звериный конфликт.

— Да.

— Вашу память когда-то закрыли, чтобы вы выжили.

— Да.

— Ваш отец погиб из-за старых систем.

— Да.

— И всё равно вы остались рядом с альфой, в доме стаи, под защитой связи.

Я почувствовала, как все в комнате ждут моего ответа. Не потому что сомневались. Потому что Белый круг бил точно. Он перечислял не ложь, а правду, только складывал её так, чтобы вывод стал чужим. Я действительно была связана по ошибке. Действительно боялась, что чувство не моё. Действительно ненавидела, когда за меня решали. Действительно имела все основания сказать: к чёрту зверей, стаи, связи, дома, альф и всю эту ночную романтику с запахом крови. Но я осталась. Не потому что связь победила меня. Потому что однажды между клеткой и пустотой я выбрала живого человека.

— Я осталась не под защитой связи, — сказала я. — Я осталась рядом с Романом. Связь — не причина. Она дорога. А по дороге можно уйти, можно прийти, можно стоять и ругаться посередине. Белый круг, судя по всему, предлагает взорвать дорогу, чтобы никто больше не заблудился. Звучит радикально. И глупо.

Дина тихо сказала:

— Вот это моя девочка.

Павел с планшета кашлянул.

— Формально образ дороги…

— Павел, молчи, — одновременно сказали мы с Диной.

Матвей впервые моргнул чуть чаще обычного. Как будто какая-то часть разговора не укладывалась в подготовленную схему. Я сделала шаг ближе, но остановилась на расстоянии, не вторгаясь.

— Матвей, — сказала я уже мягче. — Вы правда можете не хотеть быть оборотнем. Вы правда можете ненавидеть то, что с вами сделали. Вы правда можете отказаться от стаи,

наставников, нашего дома, помощи Громова, консультаций Бюро, всего. Это ваше право. Но если после процедуры вы не узнаёте, как держать скрипку, если мать не чувствует в вас сына, если ваши слова звучат так, будто их дали вам в белой комнате, — это не свобода. Это вмешательство.

Он поднял на меня глаза.

— Я знаю, как держать скрипку.

— Тогда почему на фотографии держали неправильно?

Вера всхлипнула.

Матвей замер.

Вот теперь — по-настоящему.

Не надолго. На три секунды, может быть. Но в эти три секунды он не был гладким посланником Белого круга. Он был молодым человеком, которому сказали, что ему больше не больно, а потом задали вопрос, на который белая тишина не подготовила ответа. Его пальцы дёрнулись на коленях, словно вспомнили форму грифа, вес дерева, натяжение струн.

— Фотография была постановочной, — сказал он наконец.

— Кто её ставил?

— Это неважно.

— Для тебя или для них?

Он снова закрылся.

— Я устал, — сказал Матвей. — Я хотел увидеть мать. Увидел. Теперь хочу уйти.

Вера резко подняла голову.

— Нет.

Слово сорвалось у неё не приказом, а болью.

Матвей посмотрел на неё.

— Мама, я взрослый.

— Я знаю.

— Ты не можешь меня удерживать.

— Знаю.

— Тогда почему «нет»?

Она встала, медленно, будто каждое движение давалось через усилие.

— Потому что я мать. Я не могу запретить тебе уйти. Но могу сказать «нет», когда мой сын выходит из двери, за которой его ждут люди, сделавшие из него… — Она запнулась, не сумев закончить. — Я могу сказать «нет», даже если ты всё равно уйдёшь. Это тоже моя свобода.

Матвей смотрел на неё долго.

Потом кивнул.

— Я понимаю.

Нет, не понимал.

И это было невыносимо.

Роман отошёл от камина.

— Вы можете уйти, — сказал он.

Вера закрыла глаза.

— Но, — продолжил Громов, и в голосе его появился металл, — я обязан предупредить. Если вы вернётесь к тем, кто провёл процедуру, следующая может быть опаснее. Ваш зверь не исчез. Он загнан глубоко. Лука считает, что повторное воздействие может нанести вред.

— Лука не знает, что сделал Белый круг.

— Знаю достаточно, — буркнул Лука. — Они засунули тебе под язык неизвестную дрянь и надели маску. Уже хватает, чтобы считать их идиотами или преступниками. Возможно, оба варианта.

— Они помогли мне.

— Тогда пусть придут и объяснят состав.

— Они не доверяют стаям.

— А я не доверяю людям, которые прячут химию за философией, — ответил Лука.

Матвей поднялся.

И в ту же секунду дом отреагировал.

Не задержал. Не захлопнул двери. Не выставил защиту. Просто все стены, все старые балки, весь живой шум дома как будто попытались его почувствовать ещё раз — и снова не смогли. Я ощутила это почти физически: дом тянется к человеку и проходит сквозь него, как сквозь белый туман. Барсик, сидевший у двери, тихо зашипел. Первый раз за всё утро.

Матвей посмотрел на кота.

— Животные чувствуют изменения хуже людей, — сказал он.

— Барсик не животное, — автоматически сказала Дина. — Барсик местная форма суда.

Кот шипеть не перестал.

Матвей пошёл к выходу. Вера рванулась за ним, но остановилась сама. Это остановка была страшнее любого удержания. Я видела, как она поняла: если сейчас схватит его, он уйдёт не просто из дома, а от неё. Может быть, навсегда. Поэтому она стояла, дрожа, и отпускала сына, которого ждала всю ночь.

У двери Матвей вдруг остановился.

Я думала, он посмотрит на мать. Или на Громова. Или на Луку, который сжимал прибор так, будто хотел швырнуть его в стену. Но Матвей повернулся ко мне.

И в этот момент всё в нём изменилось.

Не лицо. Не поза. Но взгляд. Словно через спокойные глаза на секунду посмотрел кто-то другой. Не Мертин, не старый архивный холод, не знакомая жадность контроля. Иная пустота. Белая, убеждённая, почти ласковая.

— Елизавета Светлова, — сказал Матвей.

Роман сразу шагнул ближе.

— Аккуратнее, — произнёс он тихо.

Матвей не обратил внимания.

— Белый круг благодарит вас за то, что вы так хорошо умеете говорить о выборе, — сказал он. — Именно поэтому вам первой нужно понять, как много в вашем выборе осталось чужого.

Я почувствовала, как у меня похолодели пальцы.

— Передайте Белому кругу, что заочные психологические диагнозы я принимаю только по предварительной записи, — сказала я.

Он улыбнулся.

Не Матвеевой улыбкой. Я уже понимала это, хотя знала его меньше суток.

— Белый круг начнёт с вас, — произнёс он спокойно. — Жена альфы должна первой узнать, как звучит настоящая свобода.

И дом зарычал.

Не Роман.

Дом.

Низко, глубоко, стенами, полом, старой древесиной, стеклом в окнах, лестницей, дверными петлями, всем тем, что когда-то училось быть клеткой, потом стало убежищем, а теперь впервые услышало, что кто-то собирается войти внутрь не с цепью, а с пустотой.

Матвей моргнул.

На секунду в его лице снова появилось что-то живое. Испуг. Боль. Растерянность. Он схватился за косяк, будто потерял равновесие, и Вера вскрикнула:

— Матвей!

Но белая гладкость вернулась почти сразу. Он выпрямился, открыл дверь и вышел на крыльцо.

Роман не бросился за ним.

Я знала, чего это ему стоило. Связь между нами раскалилась от усилия удержаться. Он мог догнать Матвея за несколько секунд. Мог перехватить, прижать к стене, заставить сказать, куда идти, кто ждёт, где Белый круг. Старый альфа сделал бы это, и многие в доме, возможно, даже не осудили бы. Но Матвей пришёл сам. Уходил сам. И вся ловушка была построена именно на том, чтобы Громов забыл, чему учился.

Поэтому Роман стоял у двери и смотрел, как человек без запаха проходит по мокрой дорожке к воротам.

Вера осела на стул.

Марта успела подхватить её за плечи.

— Дыши, — сказала Марта жёстко. — Слышишь меня? Дыши. Он жив. Он ушёл ногами. Значит, ногами может и вернуться.

Вера смотрела на открытую дверь.

— Это был он? — спросила она. — Лиза, скажите мне правду. Это был мой сын?

Я не знала, как ответить так, чтобы не солгать и не добить.

— Да, — сказала я после паузы. — Но не весь.

Она закрыла лицо руками.

Лука резко развернулся и пошёл к подвалу.

— Я найду, чем эту дрянь отмывать, — бросил он.

— Лука, — сказала Дина.

— Не сейчас.

— Я с тобой.

— Я сказал не сейчас.

— А я услышала «мне страшно одному, но я хамлю, потому что иначе не умею», — ответила Дина и пошла следом.

Павел на планшете выглядел серым.

— Лиза, Роман, — сказал он. — Я зафиксировал разговор. Не полностью, но достаточно. Фраза про вас — прямая угроза.

— Да, — ответила я.

Мой голос звучал спокойно. Удивительно спокойно.

Роман наконец повернулся ко мне.

— Лиза.

— Я здесь.

— Они не подойдут к тебе.

Старый ответ был бы: не решай за меня. Не обещай то, что не можешь гарантировать. Не превращай меня в центр охраны. И я всё ещё могла бы это сказать. Но сейчас в его словах не было клетки. Только страх, злость и любовь, которой пока трудно стоять спокойно, когда кто-то произносит моё имя чужим голосом.

— Подойдут, — сказала я. — Они уже подошли.

Он замолчал.

За окнами Матвей дошёл до ворот. Они открылись перед ним сами, потому что дом больше не имел права держать. Белый утренний свет лёг на мокрую дорожку. Парень вышел за пределы двора, остановился на секунду и не обернулся.

Потом ушёл.

И только когда ворота закрылись, я поняла, что всё это время держала руку на запястье, там, где под кожей тихо светилась наша связь.

Живая.

Тёплая.

Моя.

Пока моя.

Вера Осипова плакала за столом беззвучно. Марта держала её за плечи и смотрела в окно так, будто уже составила личный список людей, которых собирается накормить супом, связать полотенцем и заставить покаяться. Роман стоял у двери. Дом вокруг нас глухо дышал тревогой. А я смотрела на тонкую линию на своём запястье и впервые за долгое время не просто боялась за связь.

Я боялась, что кто-то попытается назвать её отсутствие свободой.

И что на секунду, всего на одну слабую человеческую секунду, я захочу услышать, как звучит тишина.

Глава 6. Свобода без сердца

После ухода Матвея дом ещё долго не мог вернуть себе обычный шум.

Это было странно и страшно, потому что за последние месяцы я успела привыкнуть: этот дом переживал беды громко. Если кто-то возвращался из тяжёлого разговора в Бюро, Марта ставила перед ним тарелку так, будто еда являлась официальной формой сопротивления. Если молодые ругались со старшими, стены скрипели, лестница ворчала, Лука матерился из подвала, а Дина произносила что-нибудь такое, после чего Павел начинал искать в законе норму о моральном ущербе от метафор. Если кому-то снился старый подвал, на кухне появлялись люди с кружками, пледами, чужими свитерами, сухарями, злостью и глупыми историями, которые рассказывали не потому, что смешно, а потому что живым иногда нужно слышать хоть что-то, кроме собственного страха. Дом не был тихим убежищем. Он был шумным, кривым, тёплым доказательством того, что после клетки люди могут мешать друг другу жить и всё равно оставаться рядом.

Но теперь дом молчал.

Не как ночью. Не как перед угрозой. И даже не так, как он замер у северной двери, когда Вера Осипова впервые постучала под дождём. Тогда в тишине была настороженность. Теперь в ней была растерянность. Матвей вошёл, поговорил, ушёл, а дом будто продолжал держать в себе пустое место, оставшееся после его присутствия. На полу гостиной не было следов. В кресле, где он сидел, не осталось ничего, кроме лёгкой вмятины на подушке. Но даже эта вмятина казалась чужой, механической, не связанной с человеком. Я смотрела на неё и думала, что раньше не понимала, как много живой памяти хранит тело пространства: запах одежды, тепло ладоней на столе, небрежный поворот чашки, сбившееся дыхание, неловкое движение плеча, всё то, что остаётся после человека, даже если он пробыл рядом десять минут. После Матвея осталось отсутствие.

Вера Осипова сидела на диване, завернувшись в мартин платок, и смотрела на закрытую дверь.

Она не плакала уже. Слёзы закончились, как заканчивается дождь после слишком долгой ночи: не потому что небо стало ясным, а потому что в нём временно не осталось воды. Марта устроилась рядом и держала её за руку. Не утешала. Просто держала, и это было намного честнее любых слов. Павел всё ещё был на планшете, но молчал, хотя обычно молчание давалось ему с трудом, особенно когда в комнате происходило что-то юридически невозможное. Орлов приехал через двадцать минут после ухода Матвея, выслушал короткий пересказ, посмотрел запись с камеры у ворот и стал ещё мрачнее. Лука ходил по гостиной с прибором, который время от времени жалобно щёлкал, будто тоже не знал, как описать происходящее. Дина стояла у окна, укутавшись в плед, и смотрела на дорогу за воротами так яростно, словно могла вернуть Матвея одним взглядом, если достаточно сильно возненавидит направление, в котором он ушёл.

Роман стоял у камина.

Не сел. Не подошёл к Вере, не начал отдавать распоряжения, не ушёл во двор. Просто стоял. Внешне неподвижный, почти спокойный, но связь между нами была натянута так, что мне казалось: если кто-то сейчас скажет ещё одну красивую фразу о свободе, в комнате может треснуть не только воздух. Его зверь не рычал. И это тоже было плохо. Громов в ярости был страшен, но понятен. Громов в такой тишине становился похож на чёрную грозу, которая ещё не решила, куда ударить.

— Я должна радоваться, — сказала Вера Осипова вдруг.

Все посмотрели на неё.

Она не подняла головы, продолжала смотреть на дверь, за которой исчез сын. Пальцы её лежали в мартиной ладони, и я видела, как Марта чуть сильнее сжала их, но не перебила.

— Он жив, — произнесла Вера глухо. — Мой сын жив. Я видела его. Я трогала его лицо. У него нет ран. Он ходит, говорит, дышит. Я должна благодарить Бога, судьбу, вас, кого угодно. Должна сидеть здесь и повторять: живой, живой, живой. А я… — Она замолчала и наконец повернулась ко мне. — А я всё думаю, что он ушёл ещё вчера. А сегодня пришло что-то с его лицом и голосом, чтобы сказать мне, что моя любовь была зависимостью от запаха.

— Вера Сергеевна, — осторожно начал Павел с экрана, но запнулся, потому что никакая юридическая формула здесь не выдерживала.

— Я плохая мать? — спросила она. — Если не могу просто радоваться?

— Нет, — сказала Марта сразу, жёстко, почти сердито. — Плохая мать сейчас сказала бы: «Главное, что он жив, остальное неважно», и заставила бы себя не видеть. А вы видите. Это больно, но это не плохая мать.

Вера закрыла глаза.

— Я не почувствовала его. Я обняла собственного ребёнка и не почувствовала его. Как будто мне дали чистую простыню вместо одеяла, которым он укрывался двадцать четыре года.

Лука остановился у кресла, где сидел Матвей.

— Это не ваша вина, — сказал он неуклюже, но очень серьёзно. — Они повредили след. Не эмоцию. Не вашу память. То, как его тело и зверь отвечали миру.

— Но я человек, — тихо сказала Вера. — Я не должна была это чувствовать.

— Человек тоже помнит телом, — сказала я.

Эта фраза вышла сама. Я не планировала. Но как только произнесла, поняла, что в ней и есть то, вокруг чего теперь собиралась вся новая беда. Не связь, не стая, не зверь в узком смысле. Тело. Живая память тела, которая знает больше, чем человек успел оформить в мысли. Мать узнаёт ребёнка до слов. Влюблённый понимает шаги в коридоре. Дом принимает не статус, а присутствие. Зверь внутри оборотня не просто рычит, а хранит дорогу к своим. Белый круг, как выяснялось, не просто рвал связи. Он бил туда, где живое узнаёт живое раньше разума.

Вера посмотрела на меня.

— Тогда что они сделали с его телом?

Я не знала, как ответить.

Лука ответил за меня, потому что, в отличие от меня, уже смотрел на это как мастер, пусть и мастер, которому очень хотелось разбить собственные инструменты.

— Они заглушили отклик, — сказал он. — Не весь. Полностью такое не сделать одной процедурой, если он родился оборотнем. Но наружный слой следа срезан почти до нуля. Звериный отклик загнан глубже. Человеческое тело осталось, память мозга, видимо, тоже, но… — Он нахмурился, подбирая слова, и посмотрел на меня, будто просил помочь перевести технический ужас на человеческий язык.

— Но тело перестало отвечать тем, кого знало, — сказала я.

— Да, — кивнул Лука. — Примерно так.

Дина тихо выругалась у окна.

— То есть они сделали его спокойным за счёт того, что вынули из него тревогу вместе с дорогой домой?

— Дина, это упрощение, — начал Павел.

— Зато верное, — сказал Лука неожиданно.

Павел замолчал.

Орлов, всё это время просматривавший запись на телефоне, поднял голову.

— На улице он шёл спокойно, — сказал он. — Не оглядывался. Не искал, нет ли хвоста. Не пытался уйти через слепую зону. Просто дошёл до угла, где его, скорее всего, подобрали.

— Машина? — спросил Громов.

Это было первое слово, которое он произнёс после ухода Матвея.

— Камеры поймали серый фургон без опознавательных знаков, — ответил Орлов. — Номера залеплены грязью. Водитель не виден. Но Матвей сел сам. Никто его не тащил.

— Конечно, сам, — сказала Дина с горькой усмешкой. — Зачем тащить человека, если сначала можно сделать так, чтобы ему больше не хотелось сопротивляться?

— Не факт, что он не сопротивлялся бы, — осторожно сказал Павел. — Мы должны быть точны.

— Павел, — Дина резко повернулась к планшету, — иногда твоя точность похожа на попытку поставить линейку на пожар.

Он устало снял очки.

— А иногда твоя злость хочет заменить доказательства. Я понимаю, что ты чувствуешь…

— Нет, — перебила она. — Не понимаешь.

— Понимаю достаточно, чтобы не хотеть, чтобы тебя использовали так же, как его, — сказал Павел.

Дина открыла рот, но не нашла быстрой колкости. Только сильнее закуталась в плед и отвернулась к окну. Мне показалось, что Павел хотел добавить что-то ещё, но не стал. Возможно, впервые за утро его юридическая осторожность была не слабостью, а способом не позволить нам всем сорваться туда, где Белый круг уже подготовил ловушку.

Громов отошёл от камина.

— Орлов, поднимай все камеры по маршруту фургона, — сказал он. — Дина, свяжись с теми, кто мониторил чаты. Пусть ищут любые упоминания возвращений после процедуры. Лука, мне нужен способ чувствовать порошок до того, как он окажется во рту у следующего. Павел, оформляй угрозу как применение неизвестного вещества против людей с особым следом. Инессу подключить немедленно. Марта…

— Я сама знаю, что мне делать, — сказала Марта, не отпуская руку Веры. — Не командуй на моей кухне, даже если мы не на кухне.

Роман кивнул.

— Хорошо.

— А ты? — спросила я.

Он повернулся ко мне.

В его взгляде было то, чего я боялась: решение, принятое на скорости боли.

— Я найду их, — сказал Роман. — Сегодня.

— Как?

— По людям, которые с ними связаны. По чатам. По фургону. По запаху порошка. По тем, кто выходил на Матвея. По любому следу.

— Следа нет.

— Значит, по тем, кто оставил пустоту.

— И что потом?

Он не ответил сразу.

Марта подняла голову. Орлов перестал листать запись. Лука сжал прибор. Дина у окна замерла. Даже Павел на экране затих так, будто связь зависла не технически, а от напряжения. Роман смотрел на меня, и я видела, как внутри него сталкиваются две силы: новый альфа, который спрашивает, и старый зверь, который знает, что с теми, кто приходит за твоими, разговаривать поздно. Матвей ушёл живым, но оставил в доме рану, которую хотелось закрыть действием. Любым. Быстрым. Жёстким. Окончательным.

— Потом заберу тех, кто у них, — сказал он.

— Силой?

— Если понадобится.

— Даже если они сами ушли?

Он шагнул ближе.

— Лиза.

— Нет, Роман. Именно это сейчас главное. Если они сами ушли, ты не можешь просто ворваться и забрать их.

— После того, что они сделали с Матвеем?

— Да. После того, что они сделали с Матвеем, особенно.

Он смотрел на меня так, будто я сказала что-то не просто неправильное, а опасное. И, возможно, сказала. Потому что я сама не была уверена, что смогла бы выдержать собственные слова, если бы на месте Матвея была Дина. Или моя мать. Или Роман. Но если мы позволим страху выбрать за нас метод, Белый круг получит не только сторонников. Он получит доказательство.

— Они калечат людей, — сказал Громов тихо.

— Да.

— Они угрожали тебе.

— Да.

— Они вошли в мой дом через чужой рот.

— Да.

— И ты говоришь мне ждать?

— Нет. Я говорю — не становиться тем, чем они нас уже назвали.

Он отвернулся, сжал руки в кулаки и несколько секунд молчал. По связи ударила такая тяжёлая волна ярости, что у меня перехватило дыхание. Не против меня. Никогда уже не против меня. Но рядом с ней было трудно стоять, потому что это была ярость зверя, которому показали раненого и сказали: если ты бросишься спасать, ты докажешь, что ты чудовище.

— Они рассчитывают на это, — сказала я мягче. — На твой рывок. На старых альф. На тех, кто скажет: хватит разговоров, надо забирать наших. Они хотят, чтобы любая стая выглядела клеткой. Если ты сейчас ворвёшься к людям, которые формально пришли сами, Белый круг запишет это, покажет всем и скажет: смотрите, мы были правы. Кровь не отпускает. Альфы не спрашивают. Дом — это ловушка.

Орлов медленно положил телефон на стол.

— Лиза права, — сказал он. — Ненавижу это, но права. Если идти силой без доказанного удержания, мы проиграем информационно и политически. К ним уйдут те, кто пока просто сомневается.

— А Матвей? — резко спросил Роман. — Оставим его там, потому что они красиво оформили похищение?

— Нет, — сказала я. — Мы ищем способ вернуть ему дорогу назад. Не схватить за шиворот и притащить. А сделать так, чтобы он смог захотеть вернуться. Или хотя бы понять, что у него есть куда.

Вера Осипова подняла голову.

— А если он не захочет? — спросила она.

Вопрос был адресован мне. И он был страшнее гнева Громова.

Я подошла к ней и села на низкий столик напротив. Марта чуть подвинулась, но руку Веры не отпустила. Я смотрела на эту женщину и знала, что не имею права утешать её ложью. Она уже слишком много пережила от людей, которые думали, что ложь может быть защитой.

— Тогда это будет больно, — сказала я. — Очень. Но если он правда, полностью, понимая всё, однажды скажет: «Я не хочу быть частью стаи, не хочу быть оборотнем, не хочу возвращаться», — мы не сможем сделать его счастливым силой. Мы можем только бороться за то, чтобы его решение было его. Не порошка, не Белого круга, не чужих фраз, не белой комнаты, не страха. Его.

Вера долго смотрела на меня. Потом кивнула, но так, будто этот кивок давался ей дороже слёз.

— Я не хочу, чтобы он был счастливым без сердца, — прошептала она.

Эта фраза повисла в комнате.

Свобода без сердца.

Наверное, именно так называлось то, что принёс Матвей. Он был спокоен. Вежлив. Разумно говорил о правах, боли, зависимости от запаха, старых ролях. Он не кричал, не метался, не угрожал. Но в этом спокойствии не было жизни, как в комнате без окон может быть чисто, тихо и безопасно, если не думать о том, что в ней нечем дышать.

Лука поставил прибор на стол и сел прямо на пол у кресла, где раньше сидел Матвей. Для него это было почти признанием поражения. Он не любил садиться, когда не закончил работу.

— Я проверил кресло, — сказал он. — Не осталось почти ничего. Но вот здесь… — Он коснулся пальцем деревянного подлокотника, не самого сиденья. — На секунду, когда Вера Сергеевна сказала про скрипку, у него был отклик. Очень слабый. Не звериный даже. Человеческий. Тело вспомнило. Пальцы вспомнили.

Вера резко вдохнула.

— Значит, он там? — спросила она.

— Да, — ответил Лука. — Не могу сказать, насколько глубоко. Но да. Не весь ушёл.

Роман повернулся к нему.

— Можно усилить такие отклики?

— Возможно, — сказал Лука. — Через вещи, которые связаны не со стаей и не со зверем. С его собственной жизнью. Скрипка. Инструменты. Запах мастерской. Музыка. То, что было его до возвращения следа и до Белого круга.

— То есть не тянуть зверя, — сказала я. — Возвращать Матвея к Матвею.

Лука кивнул.

— Да. Если мы сразу полезем к зверю, он может закрыться сильнее. Или вещество сработает как барьер. А вот человеческая память тела… она может обойти защиту.

— Память тела, — повторил Павел с экрана, и в его голосе уже появилось рабочее напряжение. — Это можно использовать как основание для мягкого восстановительного контакта. Не принудительного. Через вещи, которые человек сам признавал своими до процедуры.

— Павел, не превращай скрипку в основание, — устало сказала Дина.

— Я пытаюсь помочь.

— Тогда напиши так: «Дайте человеку то, что он любил, пока ему не объяснили, что любовь — это зависимость».

Павел помолчал.

— Это жестоко.

— Это точно.

Орлов поднялся.

— Я съезжу в мастерскую Матвея, — сказал он. — Вера Сергеевна, если вы разрешите. Нужно понять, что можно использовать. Инструменты, записи, его рабочее место.

— Я поеду с вами, — сказала Вера сразу.

Марта нахмурилась.

— Вам бы поспать.

— Я не усну.

— Это не аргумент. Тут никто не спит, и все выглядят как восстание мертвецов.

— Марта, — тихо сказала Вера, — если я останусь здесь, я буду смотреть на дверь. Лучше я поеду туда, где он был собой.

Марта вздохнула. Потом кивнула.

— Тогда поешьте сначала.

— Я не могу.

— Можете. Просто не хотите. Разницу я уважаю, но суп всё равно налью.

На мгновение в комнате стало почти живее. Не легче, нет. Но в эту мартину грубую заботу вернулось то, что Белый круг не умел подделать: тепло без красивого лозунга.

Громов подошёл ко мне, пока остальные начали двигаться, говорить, собираться в конкретные дела. Орлов звонил кому-то по поводу мастерской. Павел требовал прислать ему запись разговора полностью. Лука уже снова проверял кресло, бурча себе под нос, что человеческая память тела — термин не научный, но, возможно, полезный. Дина у окна набирала сообщение тем, кто следил за чатами Белого круга. Марта вела Веру на кухню так уверенно, будто суп являлся обязательным этапом поисковой операции.

— Ты остановила меня, — сказал Роман тихо.

Я посмотрела на него.

— Да.

— Хорошо.

Я не сразу поняла.

— Ты не злишься?

— Злюсь.

— На меня?

Он помолчал.

— Нет. На то, что ты права.

Я выдохнула, сама не заметив, что задержала дыхание.

— Это неприятно, понимаю.

— Очень.

Он смотрел на дверь, через которую ушёл Матвей. В его лице ещё оставалась жесткость, но связь между нами стала не такой раскалённой. Боль не ушла. Просто перестала командовать.

— Я всё равно хочу найти их немедленно, — сказал Роман.

— Я тоже.

— И забрать Матвея.

— Я тоже.

— И сделать так, чтобы тот, кто дал ему эту белую дрянь, больше никогда не подошёл к живому человеку.

— Я тоже, — сказала я. — Разница только в том, что если мы сделаем это неправильно, следующий Матвей не придёт даже показать матери лицо.

Громов закрыл глаза.

— Знаю.

— Поэтому нам нужна не охота. Нам нужна дверь.

Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Дверь?

— Да. Белый круг предлагает людям выход из боли. Мы должны предложить возвращение без клетки. Не «вы обязаны быть с нами». Не «мы лучше знаем, кто вы». А «если вы передумали, если вам страшно, если вы не узнаёте себя, если вы хотите проверить, что с вами сделали, — приходите, вас не схватят». И это должно быть правдой. Даже если придут те, кто вчера ушёл сами. Даже если они скажут нам в лицо, что стая — зло. Даже если тебе захочется запереть двери ради их безопасности.

— Особенно тогда, — сказал он.

— Особенно тогда.

Роман молчал. Потом протянул руку и коснулся моего запястья там, где под кожей была связь. Не проверяя. Не присваивая. Просто как человек, которому нужно убедиться, что живая линия всё ещё живая.

— Они сказали, что начнут с тебя, — произнёс он.

— Знаю.

— Я не могу быть спокойным.

— Я не прошу.

— Но ты просишь не рвать им горло сразу.

— Да.

— Трудная женщина.

— Вы сами выбрали.

Он едва заметно усмехнулся. Тень улыбки появилась и исчезла, но мне хватило.

— По выбору, — сказал Роман.

— Вот именно.

С кухни донёсся голос Марты:

— Лиза! Если ты сейчас опять ведёшь судьбоносный разговор без завтрака, я лично введу в доме правило обязательного питания для всех философов!

— Я не философ! — крикнула я в ответ.

— Врёшь! Все, кто говорит «нам нужна дверь» в шесть утра, философы и голодные идиоты!

Дина из коридора добавила:

— Подтверждаю как специалист по голодным идиотам!

Павел с планшета, который кто-то забыл на столе, устало произнёс:

— Я бы попросил не вводить новые категории без необходимости.

И дом наконец чуть-чуть ожил.

Не радостно. Не полностью. Но в коридоре скрипнула лестница, на кухне стукнула посуда, Барсик прошёл через гостиную с видом судьи, который недоволен всеми, но заседание продолжает. После человека без запаха это было почти чудом: шум, запах супа, раздражённые голоса, усталость, злость, любовь, страх — всё то, от чего Белый круг обещал освободить.

Я посмотрела на пустое кресло.

Свобода без сердца оставила после себя тишину. Но дом всё ещё умел отвечать шумом.

И пока он отвечал, у Матвея Осипова, у Веры, у всех тех, кто уже ушёл к белой тишине или только собирался, ещё оставалась хотя бы одна дорога назад.

Глава 7. Добровольное обнуление

Павел принёс в дом стаи первые заявления в большой серой папке, и эта папка выглядела хуже, чем оружие.

Оружие, по крайней мере, честно показывает, для чего создано. Нож режет, пистолет стреляет, клыки рвут, белый порошок сжигает след так, что после человека остаётся пустая вмятина в кресле и мать, не знающая, радоваться ей или плакать. А бумага всегда приходит в приличном виде. С полями, датами, подписями, регистрационными номерами, ровными формулировками и той особой канцелярской чистотой, в которой человеческая боль быстро становится «случаем», «обращением», «ходатайством», «добровольным волеизъявлением». После Мертина я думала, что меня уже невозможно напугать документом. Оказалось, можно. Просто документ должен быть не о том, что человека держали силой, а о том, что он сам попросил больше не быть собой прежним.

Мы собрались в кабинете после обеда. Роман стоял у окна, как будто за последние дни это место стало для него точкой, где можно не броситься сразу в город. Орлов сидел у стола с планшетом и картой передвижений серого фургона, которая пока выглядела как издевательство: несколько камер, две слепые зоны, потом двор у старой химчистки и снова ничего. Лука, бледный от бессонницы и злости, принёс preliminary — именно так он сказа

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.